



**БОРИС
БАЖАНОВ**

**ВАЛЬТЕР
КРИВИЦКИЙ**

**АЛЕКСАНДР
ОРЛОВ**



ЯГОДА

СМЕРТЬ ГЛАВНОГО ЧЕКИСТА



SHOUT
SHARE **IT**

Annotation

Авторы этой книги – известные деятели сталинской эпохи. Борис Бажанов был личным секретарем И. В. Сталина в 1920-е гг., Вальтер Кривицкий занимал высокий пост в НКВД СССР в 1920 – 1930-е гг., Александр Орлов – резидент советской разведки в ряде европейских стран в 1930-е гг. Все они стали политическими эмигрантами и за рубежом написали свои воспоминания, в которых предельно откровенно рассказали о Сталине и советской системе госбезопасности в предвоенные годы.

Один из главных героев этих воспоминаний – всемогущий руководитель НКВД СССР, создатель ГУЛАГа – Генрих Ягода. Обвиненный в участии в троцкистском заговоре он был казнен в 1938 году; авторы книги пишут, чем был вызван суд над Ягодой, какие тайны открылись в ходе следствия, а какие стороны деятельности Генриха Ягоды так и остались в тени.

- Борис Бажанов, Вальтер Кривицкий, Александр Орлов
- Б. Бажанов ГПУ И ЯГОДА (Из книги Бориса Бажанова «Воспоминания бывшего секретаря Сталина»)
- НА СЛУЖБЕ У СТАЛИНА
-
-
-
-
- СВЕРДЛОВЫ, ЯГОДА И БЛЮМКИН
-
-
-
- ГПУ И ЯГОДА
-
-
-
- В. Кривицкий «БОЛЬШАЯ ЧИСТКА» СТАЛИНА. «ОШИБКИ» ЯГОДЫ (Из книги Вальтера Кривицкого «Я был агентом Сталина»)
- ОГПУ. ЯГОДА И ЕЖОВ
-
-
-
-
-
-

**Борис Бажанов, Вальтер Кривицкий,
Александр Орлов
Ягода. Смерть главного чекиста**

**Б. Бажанов ГПУ И ЯГОДА (Из книги
Бориса Бажанова «Воспоминания
бывшего секретаря Сталина»)**

НА СЛУЖБЕ У СТАЛИНА

...9 августа 1923 года Оргбюро ЦК постановило: «Назначить помощником секретаря ЦК т. Сталина т. Бажанова с освобождением его от обязанностей секретаря Оргбюро». В постановлении Сталин ничего не говорит о моей работе секретарем Политбюро. Это обдуманно. Я назначаюсь его помощником. А назначение секретаря Политбюро – это его прерогатива – он будет назначать на этот пост своего помощника или кого найдет нужным (впоследствии – Маленкова, который и не скоро еще будет его помощником)...

Теперь я вхожу в секретариат Сталина. У этого учреждения будет большая история. Сейчас во главе его номинально стоит Назаретян. Но он сейчас же уйдет в отпуск, который будет продолжен по болезни. Он вернется в конце года очень ненадолго, будет Сталиным послан в «Правду» с особыми поручениями и обратно в аппарат ЦК не вернется.

Амаяк Назаретян – армянин, очень культурный, умный, мягкий и выдержанный. Он в свое время вел со Сталиным партийную работу на Кавказе. Со Сталиным на ты сейчас всего три человека: Ворошилов, Орджоникидзе и Назаретян. Все трое они называют Сталина «Коба» по его старой партийной кличке. У меня впечатление, что то, что его секретарь говорит ему «ты», Сталина начинает стеснять. Он уже метит во всероссийские самодержцы, и эта деталь ему неприятна. В конце года он отделяется от Назаретяна не очень элегантно способом. Похоже на то, что этим их личные отношения прервутся. Назаретян уедет на Урал – председателем областной контрольной комиссии, потом вернется в Москву и будет работать в аппарате ЦКК и комиссии советского контроля, но к Сталину больше приближаться не будет. В 1937 году Сталин его расстреляет.

Другой помощник Сталина, Иван Павлович Товстуха наоборот, до самой своей смерти (в 1935 году) будет играть важную роль в сталинском секретариате и при Сталине. Но сейчас, на ближайшие месяцы, он в секретариате будет бывать мало – он выполняет особое поручение Сталина – организует «Институт Ленина». Постоянно работают в секретариате сейчас три помощника Сталина: я, Мехлис и Каннер. Когда мы определяем в наших разговорах сферы нашей работы, мы делаем это так: «Бажанов – секретарь Сталина по Политбюро; Мехлис – личный секретарь Сталина; Гриша Каннер – секретарь Сталина по темным делам; Товстуха – секретарь по полутемным».

Это требует пояснений. Сравнительно ясно все насчет меня и

Мехлис. Ничего темного в нашей работе нет. В частности, все, что адресуется и приходит в Политбюро, получаю я. Все, что приходит на имя Сталина лично, получает Мехлис и докладывает Сталину. Я, так сказать, обслуживаю Политбюро, Мехлис обслуживает Сталина. У Гриши Каннера официально функции неопределенно-бытовые. Он занимается безопасностью, квартирами, автомобилями, отпусками, лечебной комиссией ЦК, ячейкой ЦК, на первый взгляд всякими мелочами. Но это – надводная часть его работы. Подводная – о ней можно только догадываться.

Я очень скоро выясняю основную линию работы Гриши Каннера. Управляет делами ЦК старый чекист, бывший член коллегии ВЧК Ксенофонтов. Он и его заместитель Бризановский, тоже чекист, работают по указаниям и приказам Гриши.

* * *

Как только я назначен секретарем Политбюро, Гриша Каннер и Ксенофонтов заявляют, что мне необходимо переехать в Кремль или, по крайней мере, в 1 – й Дом Советов. «Лоскутка» (Лоскутная гостиница), в которой я живу, – настоящий проходной двор. Туда входит кто хочет. Теперь на «органах безопасности» лежит задача охранять мою драгоценную персону. Это легко сделать в Кремле, куда люди входят только по выполнении ряда формальностей и под строгим контролем. В 1-м Доме Советов тоже есть комендатура, и тот, кто хочет к вам пройти, должен позвонить к вам из комендатуры и получить пропуск, а при выходе предъявить его в комендатуру с вашей отметкой. Довольно серьезно звучит еще аргумент, что я могу брать на дом иную срочную работу, а это все – чрезвычайно секретные документы Политбюро. «Лоскутка» для этого никак не подходит. Я соглашаюсь, но в Кремль я не хочу – там каждый ваш шаг на учете, там вы чихнуть не можете так, чтобы ГПУ этого не знало. В 1-м Доме Советов все же немного свободнее. Я переселяюсь в 1-й Дом Советов. Там же живут и Каганович, и Каннер, и Мехлис, и Товстуха.

ЦК партии, бывший в 1922 году и первую половину 1923 года на Воздвиженке, переезжает теперь в огромный дом на Старой площади, 5-й этаж дома отведен для секретарей ЦК и наших секретных служб. Поднявшись на 5-й этаж, можно пойти по коридору направо – здесь Сталин, его помощники и секретариат Политбюро; пойти же по коридору налево – здесь Молотов и Рудзутак, их помощники и секретариат Оргбюро. Если пойти по

первому правому коридору, первая дверь налево ведет в бюро Каннера и Мехлиса. Только через него можно попасть в кабинет Сталина, и то не прямо, а пройдя сквозь комнату, где дежурит курьер (это крупная женщина, чекистка Нина Фоменко). Дальше идет кабинет Сталина. Пройдя его насквозь, попадаешь в обширную комнату, служащую для совещаний Сталина и Молотова. Сейчас же за ней кабинет Молотова. Сталин и Молотов много раз в течение дня встречаются и совещаются в этой средней комнате.

В кабинет Сталина можно войти только по докладу Мехлиса. Курьерша входит, только если Сталин вызывает звонком. Каннер или Товстуха, если им нужно видеть Сталина, спрашивают его предварительно по телефону, можно ли к нему. Только два человека имеют право входа к Сталину без доклада: я и Мехлис. Мехлис как личный секретарь. Я – потому что мне все время надо видеть Сталина по делам Политбюро, а дела Политбюро считаются самыми важными и срочными. Я вхожу к Сталину, кто бы у него ни был, что бы он ни делал, и прямо обращаюсь к нему. Он прерывает свои разговоры или свое заседание и занимается тем, что я ему приношу, – дела Политбюро срочнее всех других. Но это мое право и по отношению ко всем секретарям ЦК, и всем советским вельможам. Когда нужно, я вхожу на любое заседание (скажем, например, официального правительства, Совнаркома) или в кабинет любого министра, не ожидая и не докладываясь, и прямо обращаюсь к нему, что бы он ни делал, прерывая его. Это моя прерогатива как секретаря Политбюро– я прихожу только по делам Политбюро, а более важных и срочных нет.

* * *

В первые дни моей работы я десятки раз в день хожу к Сталину докладывать ему полученные для Политбюро бумаги. Я очень быстро замечаю, что ни содержание, ни судьба этих бумаг совершенно его не интересуют. Когда я его спрашиваю, что надо делать по этому вопросу, он отвечает: «А что, по-вашему, надо делать?» Я отвечаю – по моему, то-то: внести на обсуждение Политбюро, или передать в какую-то комиссию ЦК, или считать вопрос недостаточно проработанным и согласованным и предложить ведомству его согласовать сначала с другими заинтересованными ведомствами и т. д. Сталин сейчас же соглашается: «Хорошо, так и сделайте». Очень скоро я прихожу к убеждению, что я хожу к нему зря и что мне надо проявлять больше инициативы. Так я и делаю. В секретариате Сталина мне

разъясняют, что Сталин никаких бумаг не читает и никакими делами не интересуется. Меня начинает занимать вопрос, чем же он интересуется.

В ближайшие дни я получаю неожиданный ответ на этот вопрос. Я захожу к Сталину с каким-то срочным делом, как всегда, без доклада. Я застаю Сталина говорящим по телефону. То есть не говорящим, а слушающим – он держит телефонную трубку и слушает. Не хочу его прервать, дело у меня срочное, вежливо жду, когда он кончит. Это длится некоторое время. Сталин слушает и ничего не говорит. Я стою и жду. Наконец я с удивлением замечаю, что на всех четырех телефонных аппаратах, которые стоят на столе Сталина, трубка лежит и он держит у уха трубку от какого-то непонятного и мне неизвестного телефона, шнур от которого идет почему-то в ящик сталинского стола. Я еще раз смотрю: все четыре сталинских телефона: этот – внутренний цекистский для разговоров внутри ЦК, здесь вас соединяет телефонистка ЦК; вот «Верхний Кремль» – это телефон для разговоров через коммутатор «Верхнего Кремля»; вот «Нижний Кремль» – тоже для разговоров через коммутатор «Нижнего Кремля»; по обоим этим телефонам вы можете разговаривать с очень ответственными работниками или с их семьями; Верхний соединяет больше служебные кабинеты, Нижний – больше квартиры; соединение происходит через коммутаторы, обслуживаемые телефонистками, которые все подобраны ГПУ и служат в ГПУ.

Наконец, четвертый телефон – «вертушка». Это телефон автоматический с очень ограниченным числом абонентов (60, потом 80, потом больше). Его завели по требованию Ленина, который находил опасным, что секретные и очень важные разговоры ведутся по телефону, который всегда может подслушивать соединяющая телефонная барышня. Для разговоров исключительно между членами правительства была установлена специальная автоматическая станция без всякого обслуживания телефонистками. Таким образом секретность важных разговоров была обеспечена. Эта «вертушка» стала, между прочим, и самым важным признаком вашей принадлежности к высшей власти. Ее ставят только у членов ЦК, наркомов, их заместителей, понятно, у всех членов и кандидатов Политбюро; у всех этих лиц в их кабинетах. Но у членов Политбюро также и на их квартирах.

Итак, ни по одному из этих телефонов Сталин не говорит. Мне нужно всего несколько секунд, чтобы это заметить и сообразить, что у Сталина в его письменном столе есть какая-то центральная станция, при помощи которой он может включиться

и подслушать любой разговор, конечно, «вертушек». Члены правительства, говорящие по «вертушкам», все твердо уверены, что их подслушать нельзя – телефон автоматический. Говорят они поэтому совершенно откровенно, и так можно узнать все их секреты.

* * *

Сталин подымает голову и смотрит мне прямо в глаза тяжелым пристальным взглядом. Понимаю ли я, что я открыл? Конечно, понимаю, и Сталин это видит. С другой стороны, так как я вхожу к нему без доклада много раз в день, рано или поздно эту механику я должен открыть, не могу не открыть. Взгляд Сталина спрашивает меня, понимаю ли я, какие последствия вытекают из этого открытия для меня лично. Конечно, понимаю. В деле борьбы Сталина за власть этот секрет – один из самых важных: он дает Сталину возможность, подслушивая разговоры всех Троцких, Зиновьевых и Каменевых между собой, всегда быть в курсе всего, что они затевают, что они думают, а это – оружие колоссальной важности. Сталин среди них один зрячий, а они все слепые. И они не подозревают, и годами не будут подозревать, что он всегда знает все их мысли, все их планы, все их комбинации, и все, что они о нем думают, и все, что они против него затевают. Это для него одно из важнейших условий победы в борьбе за власть. Понятно, что за малейшее лишнее слово по поводу этого секрета Сталин меня уничтожит мгновенно.

Я смотрю тоже Сталину прямо в глаза. Мы ничего не говорим, но все понятно и без слов. Наконец я делаю вид, что не хочу его отвлекать с моей бумагой, и ухожу. Наверное, Сталин считает, что секрет я буду хранить.

Обдумав все это дело, я прихожу к выводу, что есть во всяком случае еще один человек, Мехлис, который тоже не может не быть в курсе дела – он тоже входит к Сталину без доклада. Выбрав подходящий момент, я ему говорю, что я, так же, как и он, знаю этот секрет, и только мы его, очевидно, и знаем. Мехлис, конечно, ожидал, что я рано или поздно буду знать. Но он меня поправляет: кроме нас знает и еще кто то: тот, кто всю эту комбинацию технически организовал. Это – Гриша Каннер. Теперь между собой уже втроем мы говорим об этом свободно, как о нашем общем секрете. Я любопытствую, как Каннер это организовал. Он сначала отнекивается и отшучивается, но бахвальство берет верх, и он начинает рассказывать. Постепенно я выясняю картину во всех подробностях.

Когда Ленин подал мысль об устройстве автоматической сети «вертушек», Сталин берется за осуществление мысли. Так как больше всего «вертушек» надо ставить в здании ЦК (трем секретарям ЦК, секретарям Политбюро и Оргбюро, главным помощникам секретарей ЦК и заведующим важнейшими отделами ЦК), то центральная станция будет поставлена в здании ЦК, и так как центр сети технически целесообразнее всего ставить в том пункте, где сгруппировано больше всего абонентов (а их больше всего на 5-м этаже – три секретаря ЦК, секретари Политбюро и Оргбюро, Назаретян, Васильевский– уже семь аппаратов), то он ставится здесь, на 5-м этаже, где-то недалеко от кабинета Сталина.

Всю установку делает чехословацкий коммунист – специалист по автоматической телефонии. Конечно, кроме всех линий и аппаратов Каннер приказывает ему сделать и контрольный пост, «чтобы можно было в случае порчи и плохого функционирования контролировать линии и обнаруживать места порчи». Такой контрольный пост, при помощи которого можно включаться в любую линию и слушать любой разговор, был сделан. Не знаю, кто поместил его в ящик стола Сталина – сам ли Каннер или тот же чехословацкий коммунист. Но как только вся установка была кончена и заработала, Каннер позвонил в ГПУ Ягоде от имени Сталина и сообщил, что Политбюро получило от чехословацкой компартии точные данные и доказательства, что чехословацкий техник – шпион; зная это, ему дали закончить его работу по установке автоматической станции; теперь же его надлежит немедленно арестовать и расстрелять. Соответствующие документы ГПУ получит дополнительно.

В это время ГПУ расстреливало «шпионов» без малейшего стеснения. Ягоду смутило все же, что речь идет о коммунисте, – не было бы потом неприятностей. Он на всякий случай позвонил Сталину. Сталин подтвердил. Чехословацкого коммуниста немедленно расстреляли.

Никаких документов Ягода не получил и через несколько дней позвонил Каннеру. Каннер сказал ему, что дело не кончено, – шпионы и враги проникли в верхушку чехословацкой компартии; материалы по этому поводу продолжают быть чрезвычайно секретными и не выйдут из архивов Политбюро.

Ягода этим объяснением удовлетворился. Нечего и говорить, что обвинения были полностью выдуманы и никаких бумаг в архивах Политбюро по этому делу не было.

Передо мной встает проблема. Что я должен делать? Я – член партии. Я знаю, что один член Политбюро имеет возможность шпионить за другими членами Политбюро. Должен ли я предупредить этих остальных членов Политбюро?

Какие последствия это будет иметь для меня лично, не представляет для меня никаких сомнений. Погибну ли я жертвой «несчастливого случая» или ГПУ для Сталина смастерит обо мне дело, что я диверсант и агент английского империализма, Сталин во всяком случае со мной расправится. Для большой цели можно жертвовать собой. Стоит ли для этого? То есть для того, чтобы помешать одному члену Политбюро подслушивать разговоры других. Я решаю, что здесь не надо торопиться. Сталинский секрет я знаю: раскрыть его я всегда успею, если это будет очень важно. Пока я этой важности не чувствую – полгода пребывания в Оргбюро унесло у меня уже немало иллюзий; я уже хорошо вижу, что идет борьба за власть, и довольно беспринципная; ни к одному из борющихся за власть я особых симпатий не чувствую. И, наконец, если Сталин подслушивает Зиновьева, то, может быть, Зиновьев каким-то образом, в свою очередь, подслушивает Сталина. Кто его знает?..

СВЕРДЛОВЫ, ЯГОДА И БЛЮМКИН

.. Я знакоюсь с семейством Свердловых. Это очень интересное семейство. Старик Свердлов уже умер. Он жил в Нижнем Новгороде и был гравером. Он был очень революционно настроен, связан со всякими революционными организациями, и его работа гравера заключалась главным образом в изготовлении фальшивых печатей, при помощи которых революционные подпольщики фабриковали себе подложные документы. Атмосфера в доме была революционная. Но старший сын Зиновий в результате каких-то сложных душевных процессов пришел к глубокому внутреннему кризису, порвал с революционными кругами, и с семьей, и с иудаизмом. Отец его проклял торжественным еврейским ритуальным проклятием. Его усыновил Максим Горький, и Зиновий стал Зиновием Пешковым. Но, продолжая свой душевный путь, он отошел и от революционного окружения Горького, уехал во Францию и поступил в Иностранный легион для полного разрыва с прошлой жизнью. Когда через некоторое время пришло известие, что он потерял в боях руку, старик Свердлов страшно разволновался: «Какую руку?» И когда оказалось, что правую, торжеству его не было предела: по формуле еврейского ритуального проклятия, когда отец проклинает сына, тот должен потерять именно правую руку. Зиновий Пешков стал французским гражданином, продолжал служить в армии и дошел до чина полного генерала. От семьи он отрекся полностью. Когда я, приехав во Францию, хотел сообщить ему новости о его двух братьях и сестре, живших в России, он ответил, что это не его семья и что он о них ничего знать не хочет.

Второй брат, Яков, был в партии Ленина, видный член большевистского ЦК. После Октябрьской революции он стал правой рукой Ленина и Председателем ВЦИК, то есть формальным главой Советской республики. Главная его работа была организационная и распределительная: он заменял собой то, что в партии потом стало партийным аппаратом и в особенности ее орграспредом. Но в марте 1919 года он умер от туберкулеза. Его именем назван миллионный город – столица Урала, Свердловск.

Третий брат, Вениамин Михайлович, не питал склонности к революционной деятельности, предпочел эмигрировать в Америку и стал там собственником небольшого банка. Но когда произошла большевистская революция в России, Яков спешно затребовал брата. Вениамин ликвидировал свой банк и приехал в

Петроград. Он был назначен наркомом путей сообщения. Через некоторое время он убедился, что на этом посту ничего не может сделать (потом на этом посту так же неудачно перебивали Троцкий и Дзержинский), и предпочел перейти в члены Президиума ВСНХ. В дальнейшем его карьера медленно, но верно шла вниз. Впрочем, он умудрялся оставаться беспартийным, и по смерти брата можно только удивляться, что она не рухнула сразу. В эти времена (1923–1924 – 1925 годы) он был еще членом ВСНХ и заведовал его научно-техническим отделом.

Четвертый брат, Герман Михайлович, был, собственно, им сводным братом: по смерти первой жены старик Свердлов женился на русской Кормильцевой, и Герман был их сыном. Он был много моложе (В 1923 году ему было девятнадцать лет), в революции участия не принимал, был еще комсомольцем, на редкость умным и остроумным мальчишкой. Я был на четыре года старше его. Он очень ко мне привязался, постоянно у меня бывал и был со мной очень дружен. О моей внутренней эволюции (когда я постепенно стал антикоммунистом) он не имел понятия. Впрочем, мы с ним разговаривали обо всем, кроме политики.

У четырех братьев Свердловых была сестра. Она вышла замуж за богатого человека Авербаха, жившего где-то на юге России. У Авербахов были сын и дочь. Сын Леопольд, очень бойкий и нахальный юноша, открыл в себе призвание руководить русской литературой и одно время через группу «напостовцев» осуществлял твердый чекистский контроль в литературных кругах. А опирался он при этом главным образом на родственную связь – его сестра Ида вышла замуж за небезызвестного Генриха Ягода, руководителя ГПУ.

Ягода в своей карьере тоже немалым был обязан семейству Свердловых. Дело в том, что Ягода был вовсе не фармацевтом, как гласили слухи, которые он о себе распустил, а подмастерьем в граверной мастерской старика Свердлова. Правда, после некоторого периода работы Ягода решил, что пришла пора обосноваться и самому. Он украл весь набор инструментов и с ним сбежал, правильно рассчитывая, что старик Свердлов предпочтет в полицию не обращаться, чтобы не выплыла на свет Божий его подпольная деятельность. Но обосноваться на свой счет Ягоде не удалось, и через некоторое время он пришел к Свердлову с повинной головой. Старик его простил и принял на работу. Но через некоторое время Ягода, обнаруживая постоянство идей, снова украл все инструменты и сбежал.

После революции все это забылось, Ягода пленил Иду, племянницу главы государства, и это очень помогло его карьере – он стал вхож в кремлевские круги...

Вдова Якова Свердлова, Клавдия Новгородцева, жила совсем незаметной жизнью, нигде не работала.

Как-то раз приходит ко мне Герман Свердлов и между прочим рассказывает: Андрей (сын Якова Свердлова и Клавдии Новгородцевой), которому было в это время лет пятнадцать, заинтересовался тем, что один ящик в письменном столе матери всегда закрыт, и когда он у нее спросил, что в этом ящике, она его резко оборвала: «Отстань, не твое дело». И вот как-то, снedaемый любопытством и улучив момент, когда мать ненадолго где-то в комнате забыла ключи, он этот ящик открыл. И что же там оказалось? Куча каких-то фальшивых камней, очень похожих на большие бриллианты. Но, конечно, камни поддельные. Откуда у матери может быть такая масса настоящих бриллиантов? Ящик он снова закрыл и положил ключи на прежнее место.

Яков Свердлов, кажется, стяжателем никогда не был, и никаких ценностей у него не было. Я согласился с Германом – конечно, это что-то ничего не стоящее.

Но понял я, что тут налицо совсем другое. Еще до этого, роюсь в архивах Политбюро, я нашел, что три – четыре года назад, в 1919–1920 годах, во время своего острого военного кризиса, когда советская власть висела на волоске, из общего государственного алмазного фонда был выделен «алмазный фонд Политбюро». Назначение его было такое, чтобы в случае потери власти обеспечить членам Политбюро средства для жизни и продолжения революционной деятельности. Следы о соответствующих распоряжениях и выделении из государственного алмазного фонда в архиве были, но не было ни одного слова о том, где же этот фонд спрятан. Не было даже ни слова в особой папке – в моем сейфе. Очевидно, было решено, что о месте хранения фонда должны знать только члены Политбюро.

Теперь я неожиданно находил ключ. Действительно, в случае потери власти не подходило ни одно из мест хранения, кроме того, чтобы спрятать этот фонд у какого-то частного лица, к которому Политбюро питало полное доверие, но в то же время не играющего ни малейшей политической роли и совершенно незаметного.

Это объясняло, почему Клавдия Новгородцева нигде не служила и вела незаметный образ жизни, а кстати – и почему она не носила громкого имени Свердлова, которое бы ей во многом помогало во всяких мелочах жизни, и продолжала носить девичью фамилию. Очевидно, она была хранительницей фонда (впрочем, я не думаю, что это затем продолжалось много лет, так

как падение советской власти с каждым годом становилось более маловероятным).

Должен добавить о Свердловых, что Вениамин погиб в 1937 году, Леопольд Авербах был расстрелян в 1938-м, Ягода, как известно, тоже в 1938-м...

* * *

.. Я часто встречался с Мунькой Зорким. Это была его комсомольская кличка; настоящее имя Эммануил Лифшиц. Он заведовал Отделом печати ЦК комсомола. Это был умный, забавный и остроумный мальчишка. У него была одна слабость – он панически боялся собак. Когда мы шли с ним вместе по улице, а навстречу шел безобидный пес, Мунька брал меня за локоть и говорил: «Послушай, Бажанов, давай лучше перейдем на другую сторону улицы; ты знаешь, я – еврей и не люблю, когда меня кусают собаки».

Мы шли с ним по Арбату. Поравнялись со старинным роскошным буржуазным домом. «Здесь, – говорит Мунька, – я тебя оставляю. В этом доме третий этаж – квартира, бронированная за ГПУ, и живет в ней Яков Блюмкин, о котором ты, конечно, слышал. Я с ним созвонился, и он меня ждет. А впрочем, знаешь, Бажанов, идем вместе. Не пожалеешь. Блюмкин – редкий дурак, особой, чистой воды. Когда мы придем, он, ожидая меня, будет сидеть в шелковом красном халате, курить восточную трубку в аршин длины и перед ним будет раскрыт том сочинений Ленина (кстати, я нарочно посмотрел: он всегда раскрыт на той же странице). Пойдем, пойдем». Я пошел. Все было как предвидел Зоркий – и халат, и трубка, и том Ленина. Блюмкин был существо чванное и самодовольное. Он был убежден, что он – исторический персонаж. Мы с Зорким потешались над его чванством: «Яков Григорьевич, мы были в музее истории революции; там вам и убийству Мирбаха посвящена целая стена». – «А, очень приятно. И что на стене?» – «Да всякие газетные вырезки, фотографии, документы, цитаты; а сверху через всю стену цитата из Ленина: „Нам нужны не истерические выходы мелкобуржуазных дегенератов, а мощная поступь железных батальонов пролетариата“». Конечно, мы это выдумали; Блюмкин был очень огорчен, но проверить нашу выдумку в музей революции не пошел.

Об убийстве Мирбаха двоюродный брат Блюмкина рассказывал мне, что дело было не совсем так, как описывает Блюмкин: когда Блюмкин и сопровождавшие его были в кабинете

Мирбаха, Блюмкин бросил бомбу и с чрезвычайной поспешностью выбросился в окно, причем повис штанами на железной ограде в очень некомфортабельной позиции. Сопровождавший его матросик не спеша ухлопал Мирбаха, снял Блюмкина с решетки, погрузил его в грузовик и увез. Матросик очень скоро погиб где-то на фронтах Гражданской войны, а Блюмкин был объявлен большевиками вне закона. Но очень скоро он перешел на сторону большевиков, предав организацию левых эсеров, был принят в партию и в ЧК, и прославился участием в жестоком подавлении грузинского восстания. Дальше чекистская карьера привела его в Монголию, где во главе ЧК он так злоупотреблял расстрелами, что даже ГПУ нашло нужным его отозвать. Шелковый халат и трубка были оттуда – воспоминание о Монголии. ГПУ не знало, куда его девать, и он был в резерве.

Когда он показал мне свою квартиру из четырех огромных комнат, я сказал: «И вы здесь живете один?» – «Нет, со мной живет мой двоюродный брат Максимов – он занимается моим хозяйством». Максимов был мне представлен. Он был одессит, как и Блюмкин. Максимов – была его партийная кличка, которой он, в сущности, не имел права пользоваться, так как в Одессе он был членом партии и заведовал хозяйством кавалерийского полка, но проворовался, продавая казенный овес в свою пользу, и был исключен из партии и выгнан из армии. Настоящая его фамилия была Биргер. Он жил у кузена, и Блюмкин пытался его устроить на службу, но это было нелегко: человека исключенного из партии за кражу казенного имущества, никто не жаждал принимать.

И у вас две комнаты совершенно пустые; а Герман Свердлов, брат покойного Якова, который живет в тесной квартире у брата Вениамина в доме ВСНХ, не имеет даже своей комнаты. Поселить бы его здесь у вас.

– Брат Якова Свердлова? Да я буду счастлив. Пусть переезжает хоть сегодня.

Так Герман Свердлов поселился у Блюмкина.

* * *

Не зная, куда девать Блюмкина, ГПУ пробовало его приставить к Троцкому. Троцкий в 1925 году объезжал заводы с комиссией по обследованию качества продукции. Блюмкин был всажен в эту комиссию. Как ни наивен был Троцкий, но функции Блюмкина в комиссии для него были совершенно ясны. В первый же раз, когда подкомиссия во главе с Блюмкиным обследовала

какой-то завод и на заседании комиссии под председательством Троцкого Блюмкин хотел делать доклад, Троцкий перебил его: «Товарищ Блюмкин был там оком партии по линии бдительности; не сомневаемся, что он свою работу выполнил. Заслушаем сообщения специалистов, бывших в подкомиссии». Блюмкин надулся, как индюк: «Во-первых, не Блюмкин, а Блюмкин; вам бы следовало лучше знать историю партии, товарищ Троцкий; во-вторых...» Троцкий стукнул кулаком по столу: «Я вам слова не давал!» Из комиссии Блюмкин вышел ярым врагом Троцкого.

Чтобы использовать его ненависть к оппозиции, ГПУ пробовало его еще приставить к Каменеву – уже в 1926-м, когда Каменева назначили наркомторгом, Блюмкина определили консультантом наркомторга; секретари Каменева веселились до упаду по поводу работы «консультанта». Секретари Каменева мне показывали торжественное обращение недовольного Блюмкина к Каменеву. Оно начиналось так: «Товарищ Каменев! Я вас спрашиваю: где я, что я и кто я такой?» Пришлось отозвать его и оттуда.

Вскоре Блюмкина отправили резидентом ГПУ (шпионаж и диверсии) в страны Ближнего Востока. Его ненависть к Троцкому давно прошла, он вошел в контакт с троцкистской оппозицией и согласился отвезти Троцкому (который был в это время в Турции на Принцевых островах) какие-то секретные материалы. Его сотрудница, Лиза, предала его ГПУ. Он был вызван в Москву будто бы для доклада о делах, арестован и расстрелян.

ГПУ И ЯГОДА

...В первый раз я увидел и услышал Ягоду на заседании комиссии ЦК, на которой я секретарствовал, а Ягода был в числе вызванных к заседанию. Все члены комиссии не были еще в сборе, и прибывшие вели между собой разговоры. Ягода разговаривал с Бубновым, бывшим еще в это время заведующим Агитпропом ЦК. Ягода хвастался успехами в развитии информационной сети ГПУ, охватывавшей все более и более всю страну. Бубнов отвечал, что основная база этой сети – все члены партии, которые нормально всегда должны быть и являются информаторами ГПУ; что же касается беспартийных, то вы, ГПУ, конечно, выбираете элементы, наиболее близкие и преданные советской власти. «Совсем нет, – возражал Ягода, мы можем сделать сексотом кого угодно, и в частности людей, совершенно враждебных советской власти». – «Каким образом?» – любопытствовал Бубнов. – «Очень просто, – объяснял Ягода. – Кому охота умереть с голоду? Если ГПУ берет человека в оборот с намерением сделать из него своего информатора, как бы он ни сопротивлялся, он все равно в конце концов будет у нас в руках: уволим с работы, а на другую нигде не примут без секретного согласия наших органов. И в особенности если у человека есть семья, жена, дети, он вынужден быстро капитулировать».

Ягода произвел на меня отвратительное впечатление. Старый чекист Ксенофонтов, бывший раньше членом коллегии ВЧК, а теперь работавший управляющим делами ЦК и выполнявший все темные поручения Каннера, Лацис и Петере, наглый и развязный секретарь коллегии ГПУ Гриша Беленький дополняли картину – коллегия ГПУ была бандой темных прохвостов, прикрытая для виду Дзержинским.

Как раз в это время приехал в Москву, чтобы меня видеть, мой знакомый, помощник начальника железнодорожной станции в Подолии. Это был превосходный, в высшей степени порядочный человек. Он был женат на моей троюродной тетке, знал меня гимназистом и продолжал говорить мне «ты», несмотря на все мои высокие чины и ранги (я продолжал говорить ему «вы»). Он был очень удручен и приехал просить у меня совета и помощи. Местные органы ГПУ на железной дороге требовали от него вступления в число секретных сотрудников, то есть чтобы он шпионил и доносил на своих сослуживцев. Его, вероятно, наметили как легкую добычу – он был обременен семьей и был человек очень мягкий. Но быть сексотом ГПУ он отказывался. Местный чекист раскрыл карты – выбросим со службы, скажете

«ау» железной дороге и вообще никуда вас не примут; когда семья начнет пухнуть с голоду, все равно согласитесь.

Он приехал ко мне: что делать? На его счастье в моем лице у него была защита – аппаратчик высокого ранга. Я взял печатный бланк ЦК и написал на нем записку железнодорожному чекисту с требованием оставить моего родственника в покое. Бланк ЦК сыграл свою роль, и его больше не тревожили. Этот эпизод иллюстрировал для меня систему Ягоды по охвату страны информационной сетью.

* * *

Имея определенное мнение о коллегии ГПУ, я не скрывал своего чрезвычайно недружелюбного отношения ко всей этой публике. Это вызвало в коллегии ГПУ переполох. Иметь врага в лице помощника Сталина, который к тому же секретарь Политбюро, коллегия ГПУ нашла для себя крайне неудобным. Обдумывали, как быть. В конце концов решили, что выгоднее эту обоюдную вражду сделать открытой и официальной, ставя этим под подозрение всякий удар, какой я мог бы им нанести. Конечно, они справедливо опасались, что, секретарствуя на заседаниях Политбюро, будучи постоянно в контакте с секретарями ЦК и членами Политбюро, я могу быть им очень опасен.

Кроме того, они решили сыграть и на чрезвычайной подозрительности Сталина. Ягода написал Сталину письмо от имени коллегии ГПУ. В письме коллегия ГПУ считала своим долгом предупредить Сталина и Политбюро, что секретарь Политбюро Бажанов, по их общему мнению, – скрытый контрреволюционер. Они, к сожалению, не могут еще представить никаких доказательств и основываются больше на своем чекистском чутье и опыте, но считают, что их обязанность – довести их убеждение до сведения ЦК. Письмо подписал Ягода.

Сталин протянул мне письмо и сказал: «Прочтите». Я прочел. Мне было 23 года. Сталин, считавший себя большим знатоком людей, внимательно на меня смотрел. Если здесь есть доля правды, юноша смутится и начнет оправдываться. Я, наоборот, улыбнулся и вернул Сталину письмо, ничего не говоря. «Что вы по этому поводу думаете?» – спросил Сталин. «Товарищ Сталин, – ответил я с легким оттенком укоризны, – вы ведь знаете Ягodu – ведь это же сволочь». – «А все-таки, – сказал Сталин, – почему же он это пишет?» – «Я думаю, по двум причинам: с одной стороны, хочет заронить какое-то подозрение насчет меня; с другой стороны, мы с ним сталкивались на заседаниях Высшего Совета

физической культуры, где я, как представитель ЦК и проводя линию ЦК, добился отмены его вредных позиций: но он не только хочет мне отомстить вот этим способом, но чувствуя, что я к нему не испытываю ни малейшего уважения и ни малейшей симпатии, хочет заранее скомпрометировать все, что я о нем могу сказать вам или членам Политбюро».

Сталин нашел это объяснение вполне правдоподобным. Кроме того, зная Сталина, я ни секунды не сомневался, что весь этот оборот дела ему очень нравится: секретарь Политбюро и коллегия ГПУ в открытой вражде; можно не сомневаться, что ГПУ будет внимательно следить за каждым шагом секретаря Политбюро и чуть что – немедленно его известит; а секретарь Политбюро, со своей стороны, не упустит никакого случая поставить его в известность, если узнает что-либо подозрительное в практике коллегии ГПУ.

На этой базе и установились мои отношения с ГПУ: время от времени Ягода извещал Сталина об их уверенности на мой счет, а Сталин равнодушно передавал эти цидульки мне.

Но я еще должен сказать, что я был доволен, прочтя первый донос Ягоды. Дело в том, что открытая вражда обеспечивала мне безопасность в одном отношении. У ГПУ огромные возможности устроить несчастный случай – автомобильную катастрофу, убийство будто бы с целью ограбления (с подставными бандитами) и т. д. После объявления открытых враждебных действий ГПУ все эти возможности отпадали – теперь за несчастный случай со мной Ягода заплатил бы головой.

А незадолго до этого письма у меня был такой случай. В ЦК были устроены для сотрудников группы по изучению иностранных языков. Я бывал на группах по изучению английского и французского. В группе английского я познакомился с очень хорошенькой молодой латышкой Вандой Зведре, работавшей в аппарате ЦК. В это время я был вполне свободен; мы с Вандой друг другу понравились, но оба приняли это просто как приятную авантюру. Ванда была замужем за крупным чекистом. Она жила с мужем на Лубянке, в доме ГПУ, в нем были квартиры для наиболее ответственных чекистов. Ванда бывала у меня, но как-то пригласила меня к себе, в ее квартиру на Лубянке. Мне было любопытно посмотреть, как живут чекистские верхи в их доме; я к ней пришел вечером после работы. Ванда объяснила мне, что муж ее уехал в командировку, и предложила остаться у нее на ночь. Это мне показалось чрезвычайно подозрительным – «неожиданно» вернувшийся из командировки муж, застав меня в кровати своей жены, мог разрядить в меня свой наган, и все прошло бы как обыкновенная

история драмы ревности; муж бы показал, что он не имеет понятия, кто я такой. Под предлогом необходимости поработать еще над какими-то срочными бумагами, я отказался (впрочем, подозревал я не Ванду, а ГПУ, которое могло воспользоваться представившимся случаем).

Вот теперь, после письма Ягоды, возможности несчастного случая или убийства на почве ревности отпадали.

* * *

Все следующие годы моей работы прошли в открытой вражде с ГПУ, и это было всем более или менее известно. Сталин к этому вполне привык, и его ничуть не смущали такие случаи, как, например, тот, который произошел с Анной Георгиевной Хутаревой.

В Высшем техническом училище у меня был приятель, беспартийный студент Пашка Зимаков. Политикой он совершенно не занимался и не интересовался. Мать его, Анна Георгиевна, по смерти мужа (Зимакова) вышла замуж за очень богатого человека, Ивана Андреевича Хутарева, владельца большой фабрики тонких сукон в Шараповой Охоте под Москвой. Во время Гражданской войны Хутарев, спасаясь от большевиков, бежал на Юг, оттуда за границу и жил в 1924 году в Бадене под Веной. Жена осталась с четырьмя маленькими детьми; жена «капиталиста», она жила чрезвычайно бедно и трудно.

Пашка Зимаков извещает меня – мама очень хочет тебя видеть. Приезжаю. Оказывается следующее. В совершенно святой простоте Анна Георгиевна, взяв у знакомого врача медицинское свидетельство, что для ее состояния здоровья ей были бы очень полезны воды курорта Бадена под Веной, приходит в административный отдел Совета и просит выдать ей заграничный паспорт для поездки на лечение за границу. Чиновник Совета читает ее просьбу: «Вы просите паспорт для поездки со всеми четырьмя детьми?» – «Да». – «Вы, гражданка, сумасшедшая или делаете вид, что вы ненормальная?» – «Почему же? Я хочу поехать лечиться». – «Хорошо, приходите через месяц».

Паспорт выдает ГПУ, и просьба идет туда на изучение. Там, конечно, сейчас же выясняют – буржуйка нагло просит разрешения бежать из страны к своему мужу, белогвардейцу, эмигранту и капиталисту. Через месяц, когда она является в административный отдел совета, ее просят пройти в какой-то кабинет, и там три чекиста начинают многообещающий допрос. Из допроса сразу ясно, что им все известно о муже и даже что он

живет в Бадене. Чекисты спрашивают: «Вы что же, издеваетесь над нами?» Бедной женщине приходит в голову спасительная идея: «Я, знаете, не партийная и ничего в политике не понимаю, но если за меня поручится видный партиец?» – «Кто же этот видный партиец?» – иронически спрашивают чекисты. «Это – секретарь товарища Сталина». – «Что? Это что за номер? Вы, гражданка, в своем уме?» – «Да, уверяю вас, что он может за меня поручиться». Чекисты переглядываются: «Хорошо, принесите поручительство – тогда продолжим разговор».

Все это Анна Георгиевна мне рассказывает. Я очарован – наивности в таких пределах я еще не встречал. «Так, значит, – говорю я, – вы меня просите, чтобы я поручился, что по истечении месяца лечения вы с вашими детьми вернетесь в СССР?» – «Да». – «А едете вы к мужу для того, чтобы там с детьми остаться и в СССР не вернуться?» – «Да». Очаровательно. «Вы понимаете, – говорит Анна Георгиевна, – я здесь с детьми пропаду. Выехать к мужу – для меня одно спасение». – «Хорошо, – говорю я, – давайте вашу бумажку – подпишу». – «А я, – говорит Анна Георгиевна, – всю жизнь за вас буду молить Бога».

Дальше все пошло как по маслу. Ягоде было немедленно доложено о моем поручительстве. Представляю себе, как злорадно потирал руки Ягода. Он немедленно выдал заграничный паспорт, и моя Анна Георгиевна со всеми детьми выехала в Австрию. Конечно, когда через месяц ей из советского консульства напомнили, что виза ее истекла и надо возвращаться, она ответила, что от советского гражданства отказывается и остается за границей на эмигрантском положении.

Ягода только этого и ждал, и Сталину был сейчас же послан подробный доклад, как Бажанов помог буржуйке бежать за границу. «Что это еще за история?» – спросил у меня Сталин, передавая мне донос Ягоды. «А это, товарищ Сталин, я хотел проверить, насколько Ягода глуп: если эта буржуйка, которая хочет бежать за границу, и Ягода это знает, почему же он ей подписывает заграничный паспорт и ее выпускает? Если, наоборот, ничего плохого в ее выезде нет, тогда в чем же меня обвинять? Ягода на все согласен, лишь бы мне причинить неприятность, не понимая, в какое глупое положение себя ставит». На этом все и закончилось – Сталин никакого внимания на этот эпизод не обратил.

* * *

Я очень скоро понял, какую власть забирает ГПУ над

беспартийным населением, которое отдано на его полный произвол. Так же ясно было, почему при коммунистическом режиме невозможны никакие личные свободы: все национализировано, все и каждый, чтобы жить и кормиться, обязаны быть на государственной службе. Малейшее свободомыслие, малейшее желание личной свободы – и над человеком угроза лишения возможности работать и, следовательно, жить. Вокруг всего этого гигантская информационная сеть сексотов, обо всех все известно, все в руках у ГПУ. И в то же время, забирая эту власть, начиная строить огромную империю ГУЛАГа, ГПУ старается как можно меньше информировать верхушку партии о том, что оно делает. Развиваются лагеря – огромная истребительная система – партии докладывается о хитром способе за счет контрреволюции иметь бесплатную рабочую силу длястроек пятилетки; а кстати «перековка» – лагеря-то ведь «исправительно-трудовые»; а что в них на самом деле? Да ничего особенного: в партии распространяют дурацкий еврейский анекдот о нэпманах, которые говорят, что «лучше воробейчиковы горы, чем соловейчиков монастырь». У меня впечатление, что партийная верхушка довольна тем, что заслон ГПУ (от населения) действует превосходно, и не имеет никакого желания знать, что на самом деле делается в недрах ГПУ: все довольны, читая официальную болтовню «Правды» о стальном мече революции (ГПУ), всегда зорко стоящем на страже завоеваний революции.

Я пробую иногда говорить с членами Политбюро о том, что население отдано в полную и бесконтрольную власть ГПУ. Этот разговор никого не интересует. Я скоро убеждаюсь, что, к счастью, мои разговоры приписываются моим враждебным отношениям к ГПУ и поэтому они не обращаются против меня; а то бы я быстро стал подозрителен: «интеллигентская мягкотелость», «отсутствие настоящей большевистской бдительности по отношению к врагам» (а кто только не враг?) и так далее. Путем длительной и постоянной тренировки мозги членов коммунистической партии твердо направлены в одну определенную сторону. Не тот большевик, кто читал и принял Маркса (кто в самом деле способен осилить эту скучную и безнадежную галиматью), а тот, кто натренирован в непрерывном отыскании и преследовании всяких врагов. И работа ГПУ все время растет и развивается как нечто для всей партии нормальное – в этом и есть суть коммунизма, чтобы непрерывно хватать кого-нибудь за горло; как же можно упрекать в чем-либо ГПУ, когда оно блестяще с этой задачей справляется? Я окончательно понимаю, что дело не в том, что чекисты – мразь,

а в том, что система (человек человеку волк) требует и позволяет, чтобы мразь выполняла эти функции.

* * *

Я столько раз говорю, что Ягода – преступник и негодяй, настоящая роль Ягоды в создании всероссийского ГУЛАГа так ясна и известна, что, кажется, ничего нельзя сказать в пользу этого субъекта. Между тем, один-единственный эпизод из его жизни мне очень понравился – эпизод в его пользу. Это было в марте 1938 года, когда пришло, наконец, время для комедии сталинского «суда» над Ягодой. На «суде» функции прокурора выполняет человекоподобное существо – Вышинский.

Вышинский: «Скажите, предатель и изменник Ягода, неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете, наконец, перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не испытываете ни малейшего сожаления о сделанном вами?»

Ягода: «Да, сожалею, очень сожалею...»

Вышинский: «Внимание, товарищи судьи. Предатель и изменник Ягода сожалеет. О чем вы сожалеете, шпион и преступник Ягода?»

Ягода: «Очень сожалею... Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял».

Надо пояснить, что у кого-кого, а у Ягоды, самого организовавшего длинную серию таких же процессов, никаких, даже самых малейших иллюзий насчет результатов «суда» не было...

**В. Кривицкий «БОЛЬШАЯ ЧИСТКА»
СТАЛИНА. «ОШИБКИ» ЯГОДЫ (Из
книги Вальтера Кривицкого «Я был
агентом Сталина»)**

ОГПУ. ЯГОДА И ЕЖОВ

Мое знакомство с ОГПУ состоялось в январе 1926 года, когда я оказался в роли «подозреваемого». Я занимал тогда пост начальника военной разведки в Западной Европе III отдела Разведуправления Красной Армии. III отдел собирает сведения, поступающие со всего мира, и составляет секретные доклады и специальные бюллетени для двадцати членов высшего руководства СССР.

В то утро меня вызвал к себе Никонов, возглавлявший III отдел, и сказал мне, чтобы я немедленно отправлялся в спецотдел московского областного ОГПУ.

– Вход через улицу Дзержинского, подъезд № 14, – сказал он. – Вот пропуск.

Он протянул мне кусочек зеленого картона, присланный из ОГПУ. На мой вопрос, зачем меня вызывают, он сказал:

– Честно говоря, не знаю. Но когда они вызывают, нужно идти немедленно.

Вскоре я стоял перед следователем ОГПУ. Он сухо предложил мне сесть, сел сам за свой стол и стал перебирать какие-то бумаги. Десять минут прошло в молчании, после чего он быстро взглянул на меня и спросил:

– Когда вы последний раз дежурили по Третьему отделу?

– Шесть дней назад, – ответил я.

– Тогда скажите, куда девалась печать Третьего отдела? – сказал он с напускным драматизмом.

– Откуда мне знать? – ответил я. – Дежурный на выходе не подписал бы мне пропуск, если бы я не сдал ему ключи и печать.

Следователь вынужден был признать, что, судя по журналу дежурств, я сдал ключ вместе с другими атрибутами власти своему сменщику. Однако дело на этом не кончилось, и он стал мне задавать наводящие вопросы:

– Вы давно состоите в партии, товарищ Кривицкий?

– Вы не имеете права задавать мне подобные вопросы, – сказал я. – Вы знаете, какое положение я занимаю. Пока я не доложу своему начальнику товарищу Берзину, я не имею права подвергать себя дальнейшему допросу. С вашего позволения, я позвоню ему по телефону.

Я набрал номер своего начальника Берзина, объяснил ситуацию и спросил, должен ли я отвечать на вопросы общего характера.

– Ни слова, пока не получите моих указаний. Я по звоню вам через пятнадцать – двадцать минут.

Следователь нетерпеливо ждал, вышагивая по кабинету. Через двадцать минут раздался звонок от Берзина.

– Отвечайте на вопросы, только относящиеся к делу, – сказал он мне.

Я передал трубку следователю, и Берзин повторил свое указание.

– Ну ладно, – сказал следователь недовольным то ном. – Можете идти.

Я вернулся к себе. Менее чем через полчаса ко мне зашел интеллигентный молодой человек в очках, работавший в нашем дальневосточном отделе. Он не был членом партии и был взят в наш отдел только за знание персидского языка.

– Знаете что, Кривицкий, – сказал он мне с явным испугом. – Меня вызывают в ОГПУ.

– Зачем? – спросил я его. – Вы же не несете дежурств.

– Конечно, нет, – ответил он. – Мне никогда бы не доверили. Я же не член партии.

Интеллигентный молодой человек отправился в ОГПУ, да так и не вернулся обратно.

Через несколько дней пропавшая печать была «найдена». Я уверен, что ее выкрали сотрудники ОГПУ, чтобы состряпать дело вокруг нашего Разведуправления и убедить Политбюро в необходимости распространить на него свою власть. Разведуправление ревниво оберегало свою независимость и последним попало во власть секретной службы, но это случилось десятью годами позже.

Фабрикация таких дел была любимым занятием ОГПУ. Убедив вначале аппарат большевистской диктатуры, а затем и лично Сталина в том, что их власть держится исключительно на неусыпной бдительности ОГПУ, оно так расширило свое всевластие, что в конце концов превратилось в государство в государстве.

Начав «следствие» по делу, не имеющее ничего общего с раскрытием преступлений, оно вынуждено ради протокола найти жертву любой ценой, и в этом состоит основная жестокость этого учреждения. Этим же объясняется исчезновение нашего знатока персидского языка.

* * *

История создания ОГПУ восходит к декабрю 1917 года, когда месяц спустя после Октябрьской революции Ленин направил Дзержинскому проект декрета о создании органа для «борьбы с

контрреволюцией, спекуляцией и саботажем». Эта памятная записка ознаменовала собой рождение Чрезвычайной комиссии, уполномоченной вести борьбу против врагов Советской власти. ЧК превратилась в инструмент террора и массовых репрессий, которые начались после покушения на жизнь Ленина летом 1918 года и убийства Урицкого.

Первый председатель ЧК Феликс Дзержинский был беспощадным борцом за дело революции с репутацией неподкупного революционера. Во время Гражданской войны он посылал на смерть бесчисленное число людей, будучи твердо уверен, что другого пути защитить Советскую власть от «классовых врагов» нет. О каких бы ужасах, связанных с именем ЧК в первые годы Октябрьской власти, ни говорилось, ни Дзержинским, ни его ближайшими сотрудниками не руководили какие-либо иные мотивы, кроме фанатического рвения быть карающим мечом Революции.

Люди, лояльно настроенные по отношению к Советской власти, не испытывали тогда еще страха перед ЧК.

По мере того как Советская власть становилась все более тоталитарной, большевистская партия все очевиднее становилась жертвой того, что она создала в 1917 году, а советская тайная полиция все больше прибирала все вокруг к рукам, террор превращался в самоцель, и бесстрашных революционеров сменяли матери, распущенные и аморальные палачи.

В 1923 году ЧК стала называться ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление). Перемена названия была вызвана желанием избавиться от неприятных ассоциаций. Однако новое название скоро стало внушать куда больший страх.

ОГПУ осталось в том же здании, которое занимала ЧК, на Лубянке, где до революции располагалось страховое общество. Первоначально это здание, выходящее на Лубянскую площадь, было пятиэтажным, но начиная с 1930 года оно стало расширяться, были добавлены еще три этажа из желтого кирпича и пристроено роскошное 11-этажное здание с цоколем из черного мрамора.

Главный вход в ОГПУ все еще осуществляется через старое здание, над дверями которого укреплен барельеф с изображением Карла Маркса. Есть еще и другие входы с прилегающих переулков, так что практически все здания одного квартала принадлежат ОГПУ.

Обычные граждане получают пропуска для входа в здание ОГПУ в Бюро пропусков, находящемся на улице Кузнецкий мост, напротив Наркомата по иностранным делам. В Бюро пропусков всегда толпятся родственники, жены и друзья заключенных в

надежде получить разрешение на свидание или передачу. Одного взгляда на эти очереди достаточно, чтобы составить себе впечатление о том, какую политику вела Советская власть в тот или иной период. В первые годы Советской власти в этих очередях стояли жены офицеров или купцов. Затем в них стали преобладать родные арестованных инженеров, профессоров. В 1937 году я видел, как в длинных очередях стоят родные и близкие моих друзей, товарищей и коллег.

В длинных, мрачных коридорах Лубянки – охрана через каждые двадцать шагов. Пропуска проверяются по крайней мере трижды, пока посетитель получит доступ в один из кабинетов ОГПУ.

На том месте, где в старом здании был когда-то внутренний двор, выстроена специальная тюрьма для опасных политических преступников. Многие из них содержатся в одиночных камерах, а сама тюрьма носит название «Изолятор». На окнах камеры установлены не только железные решетки, но и железные жалюзи, так, что в нее может проникнуть только тонкий луч света. Узнику камеры не видно ни двора, ни неба.

Когда следователь ОГПУ захочет провести допрос заключенного в своем кабинете, он звонит начальнику тюрьмы, и его ведут в главное здание под стражей через двор, вверх по узкой полутемной лестнице. Есть здесь и лифт, поднимающий заключенных на верхние этажи.

Осенью 1935 года я увидел на Лубянке одного из самых знаменитых ее узников, ближайшего соратника Ленина, первого Председателя Коминтерна, который стоял одно время во главе Ленинградского комитета партии и Совета. Когда-то это был дородный мужчина. Теперь по коридору шаркающей походкой, в пижаме шел изможденный человек с потухшим взглядом. Так последний раз я видел человека, бывшего когда-то Григорием Зиновьевым. Его вели на допрос. Несколько месяцев спустя он был расстрелян.

В кабинете каждого следователя самый важный предмет мебели – это диван, поскольку он вынужден порой вести допросы с перерывами круглые сутки. Сам следователь, по сути, такой же узник, как и его подследственный. Ему даны неограниченные права, начиная от пыток и кончая расстрелом на месте. Это одна из особенностей советского судебного процесса: несмотря на многочисленные казни, штатных палачей не существует. Иногда в камеры Лубянки для исполнения смертного приговора, вынесенного коллегией ОГПУ, спускаются сотрудники и охрана. Иногда это делают сами следователи. Представьте себе для аналогии, как окружной судья Нью-Йорка, получив санкцию на

исполнение высшей меры наказания, со всех ног несется в Синг-Синг, чтобы включить рубильник электрического стула.

* * *

Самое большое число казней на Лубянке пришлось на 1937 и 1938 годы, когда великая чистка захлестнула всю страну. Еще раньше, в 1934 году, Сталин натравливал ОГПУ на рядовых большевиков. Периодические «очищения» рядов партии, являющиеся функцией Комитета партийного контроля, были переданы в руки тайной полиции. Тогда-то впервые все члены большевистской партии стали объектами индивидуальной полицейской слежки.

В марте 1937 года, однако, Сталин решил, что все эти очищения и чистки недостаточны. В 1933–1936 годах он сохранил за собой власть в значительной степени благодаря Ягоде и его секретным сотрудникам, чья беззаветная преданность помогла ему уничтожить старые руководящие кадры большевистской партии и Красной Армии. Но так как сталинские методы чистки были Ягоде слишком известны, а сам он стал слишком близок к рычагам власти, то Сталин решил сменить палачей, не меняя своей политики. Тот, на кого пал жребий стать преемником Ягоды, был Николай Ежов, которого Сталин за несколько лет до этого «подсадил» в ЦК партии в качестве его секретаря и главы отдела кадров, от которого зависело очень многое. На своем посту Ежов, по сути, занимался деятельностью, параллельной ОГПУ, подчиняясь непосредственно Сталину. Когда он занял кресло Ягоды, он взял с собой сотни две своих надежных «ребят» из числа личного сталинского ОГПУ. В 1937 году лозунгом Сталина было: «Усилить чистку!».

Ежов претворил этот лозунг в кровавую действительность. Первым делом он обвинил сотрудников ОГПУ в недостаточной требовательности по вине разложившегося руководства и сообщил им, что ОГПУ должно усилить чистку, начиная с себя.

18 марта 1937 года Ежов сделал доклад на собрании руководящих работников в клубе ОГПУ. Все заместители Ягоды и все начальники отделов ОГПУ, за исключением одного, уже находились под арестом. Удар теперь должен опуститься на головы высшего начальства. Просторное помещение клуба было до отказа заполнено ветеранами ЧК, из которых многие прослужили в органах почти двадцать лет. Ежов делал доклад в своем новом качестве народного комиссара внутренних дел. Смена названия была новой попыткой избавиться от назойливых

ассоциаций. Новоиспеченный комиссар серьезно взялся за дело. Это был его звездный час. Он должен был доказать, что незаменим для Сталина. Ежов решил разоблачить деятельность Ягоды перед его оставшимися в живых сотрудниками.

Ежов начал с того, что в его задачу не входит доказывать ошибки Ягоды. Если бы Ягода был твердым и честным большевиком, он не потерял бы доверия Сталина. Ошибки Ягоды имеют глубокие корни. Докладчик сделал паузу, и все присутствующие затаили дыхание, чувствуя, что наступает решительный момент. Тут Ежов сделал эффектное признание, что с 1907 года Ягода находился на службе царской охраны. Присутствующие проглотили это сообщение не моргнув глазом. А ведь в 1907 году Ягоде было десять лет от роду! Но это не все, перешел на крик Ежов. Немцы сразу пронюхали об истинном характере деятельности Ягоды и подсунили его Дзержинскому для работы в ЧК в первые же дни после революции.

– На протяжении всей жизни Советского государства, – кричал Ежов, – Ягода работал на германскую разведку!

Ежов поведал своим объятим ужасом слушателям, что шпионы Ягоды проникли всюду, заняв все ключевые посты. Да! Даже руководители отделов ОГПУ Молчанов, Горб, Гай, Паукер, Волович – все шпионы!

– Ежов может доказать, – кричал он, – что Ягода и его ставленники – не что иное, как воры, и в этом нет ни малейших сомнений.

– Разве не Ягода назначил Лурье начальником строительного управления ОГПУ? А кто, как не Лурье, был связующим звеном между Ягодой и иностранной разведслужбой? – Это и было его главным доказательством.

– Многие годы, – заявил Ежов, – эти два преступника, Ягода и Лурье, обманывали партию и свою страну. Они строили каналы, прокладывали дороги и возводили здания, стоящие огромных средств, но в отчетах указывали, что затраты на них обходились крайне дешево.

– Но как, спрашиваю я вас, товарищи, как этим мерзавцам удавалось это? Как, спрашивается?

Ежов пристально вглядывался в глаза окаменевших слушателей.

– Очень просто. Бюджет НКВД не контролируется никем. Из этого бюджета, бюджета собственного учреждения, Ягода черпал суммы, нужные ему для сооружения дорогостоящих зданий по крайне «дешевой» цене.

– Зачем Ягоде и Лурье нужно было это строительство? Зачем им нужно было строить дороги? Это они делали в погоне за

популярностью, чтобы завоевать себе известность, заработать себе награды! Но может ли предатель быть удовлетворен всем этим? Почему Ягода так стремился завоевать популярность? Она ему была нужна потому, что на самом деле он преследовал политику Фуше.

Длинная очередь противоречивых обвинений, пущенная Ежовым в публику, ошарашила присутствующих. Ягода служил в охране десять лет. Потом оказывается, что этот обыкновенный шпион, провокатор и вор захотел еще и соревноваться с пресловутым наполеоновским министром полиции.

– Это очень серьезный вопрос, товарищи, – про должал Ежов. – Партия была вынуждена все эти годы противостоять росту фашизма среди нас. Это было нелегко. Да, товарищи, я вам должен сказать, и вы крепко это запомните, что даже Феликс Эдмундович Дзержинский ослабил здесь оборону революции.

Ежов перешел к резюме, которое сводилось к следующему: нам нужна чистка, чистка и еще раз чистка. У меня, Ежова, нет сомнений, нет колебаний, нет и слабостей. Если можно было бы задать вопрос покойному Феликсу Дзержинскому, почему мы должны считаться с репутацией даже старейших и наиболее закаленных чекистов?

Старейшие сотрудники органов ОГПУ, ветераны Октябрьской революции, чувствуя, что наступает их очередь пасть жертвой, были бледны и безучастны. Они аплодировали Ежову, как будто все это их не касалось. Они аплодировали, чтобы продемонстрировать свою преданность. Кто знает? Своевременное признание своей вины, возможно, еще спасет их от пули в затылок. Возможно, они еще раз смогут заработать себе право на жизнь предательством своих друзей...

* * *

Пока собрание продолжалось, на трибуну взошел Артузов, обрусевший швейцарец, большевик с 1914 года. Артузов знал, что поставлено на карту. Старый чекист заговорил с актерским пылом:

– Товарищи, в труднейшие дни для революции Ленин поставил Феликса Эдмундовича Дзержинского во главе ЧК. В еще более сложное время Сталин поставил своего лучшего ученика Николая Ивановича Ежова во главе НКВД. Товарищи! Мы, большевики, научились быть безжалостными не только к врагам, но и к самим себе. Да, Ягода действительно хотел играть роль Фуше. Он действительно хотел противопоставить ОГПУ нашей

партии. Из-за нашей слепоты мы невольно участвовали в этом заговоре.

Голос Артузова креп, становился более уверенным:

– В 1930 году, товарищи, когда партия впервые почувствовала эту тенденцию и, желая положить ей конец, назначила в ОГПУ старого большевика Акулова, что сделали мы, чтобы помочь Акулову? Мы встретили его в штыки! Ягода всячески старался помешать его работе. А мы, товарищи, не только поддерживали саботаж Ягоды, но пошли еще дальше. Я должен честно признаться, вся партийная организация ОГПУ была занята саботажем Акулова.

Артузов беспокойно искал взглядом хотя бы малейшего намека на одобрение на скуластом личике Ежова. Он чувствовал: наступил нужный момент для решающего удара, чтобы отвести подозрение от себя.

– Спрашивается, кто был в это время руководителем партийной организации ОГПУ? – Он набрал воздух в легкие и выдохнул: – Слуцкий!

Бросив своего товарища на растерзание, Артузов с триумфом сошел с трибуны.

Слуцкий, бывший в то время начальником Иностранного отдела ОГПУ, встал, чтобы защитить себя от обвинений. Это был тоже старый, опытный большевик. Он тоже знал, что поставлено на карту. Свою речь Слуцкий начал неуверенно, чувствуя, что обстоятельства складываются не в его пользу.

– Артузов попытался представить меня как ближайшего сотрудника Ягоды. Отвечу, товарищи: конечно, я был секретарем партийной организации ОГПУ. Но кто же был членом коллегии ОГПУ– Артузов или я? Спрашивается, можно ли тогда было быть членом коллегии, этого высшего органа ОГПУ, не имея полного доверия Ягоды? Артузов уверяет, что своей «верной службой» Ягоде на посту секретаря парторганизации я заработал себе заграничную командировку, что это я получил в награду за саботаж Акулова. Я использовал эту командировку, как уверяет Артузов, в целях установления контакта между шпионской организацией Ягоды и его хозяевами за рубежом. Но я утверждаю, что моя командировка состоялась по настоянию самого Артузова. В течение многих лет Артузов находился в дружеских отношениях с Ягодой.

А затем Слуцкий нанес свой главный удар:

– Скажите, Артузов, где вы живете? Кто жил напротив вас? Буланов? А разве не он был одним из первых арестованных? А кто жил этажом выше, Артузов? Островский. Он тоже арестован. А под вами кто жил, Артузов? Ягода! А теперь я спрашиваю вас,

товарищи, можно ли было в известных обстоятельствах жить в одном доме с Ягодой и не пользоваться его полнейшим доверием?..

Сталин и Ежов подумали и решили поверить как Слуцкому, так и Артузову, и в свое время уничтожили обоих.

Таков был характер усиленной, или великой, чистки, которая началась в марте 1937 года. Аппарат Советской власти стал похож на сумасшедший дом. Дискуссии, подобно описанной выше, проходили в каждом подразделении ОГПУ, в каждой ячейке большевистской партии, на каждом заводе, в войсковой части, в колхозе. Каждый становился предателем, если он не смог обвинить в предательстве кого-то другого. Люди осторожные пытались уйти в тень, стать рядовыми служащими, избежать соприкосновения с властями, сделать так, чтобы их забыли.

Долгие годы преданности партии не значили ничего. Не помогали даже заклинания в верности Сталину. Сам Сталин выдвинул лозунг: «Все поколение должно быть принесено в жертву».

Нас приучили к мысли о том, что старое должно уйти. Но теперь чистка принялась за новое. Той весной мы как-то разговорились со Слуцким о масштабах арестов, проведенных с марта того же года, – их было 35 тысяч, а возможно и 400 тысяч. Слуцкий говорил с горечью:

– Знаешь, мы и вправду старые. Придут за мной, придут за тобой, придут за другими. Мы принадлежим к поколению, которому суждено погибнуть. Сталин ведь сказал, что все дореволюционное и военное поколение должно быть уничтожено, как камень, висящий на шее революции. Но сейчас они расстреливают молодых – семнадцати- и восемнадцатилетних ребят и девочек, родившихся при Советской власти, которые не знали ничего другого... И многие из них идут на смерть с криками: «Да здравствует Троцкий!».

* * *

Можно было привести массу примеров в доказательство. Лучшим примером этому служит дело самого Ягоды. Среди многих дичайших обвинений, выдвинутых шефу ОГПУ на его процессе в марте 1938 года, самым бессмысленным по своей сути было обвинение в заговоре с целью отравления Сталина, Ежова и членов Политбюро. Многие годы Ягода отвечал за питание кремлевских руководителей, в том числе Сталина и других высокопоставленных лиц правительства. Специальный отдел

ОГПУ в непосредственном ведении Ягоды контролировал шаг за шагом снабжение Кремля продуктами питания, начиная со специальных подмосковных хозяйств, где продукция выращивается под неусыпным наблюдением сотрудников Ягоды, и кончая столами кремлевских вождей, которых обслуживают агенты ОГПУ.

Все сельскохозяйственные работы вплоть до сбора урожая, перевозки, изготовления и подачи блюд осуществлялись специальными сотрудниками ОГПУ в непосредственном подчинении у Ягоды. Каждый из сотрудников его специальной секции отвечал перед Ягодой своей головой, а сам Ягода в течение многих лет нес на своих плечах тяжкий груз этой ответственности. Сталин, не раз обязанный спасением своей жизни его неусыпной бдительности, не ел никакой другой пищи, кроме той, которую подавали ему сотрудники Ягоды.

На процессе было «доказано», что Ягода возглавлял гигантский отравительский заговор, в который он втянул даже старых кремлевских врачей. Но это было еще не все. Было «доказано», что Ягода, так сказать шеф-повар Кремля, не удовлетворенный методами отравления, задумал медленное убийство Ежова, опрыскивая его кабинет ядовитыми веществами. Все эти вопиющие «факты» стали достоянием открытого процесса, и в справедливости многих из них «признался» сам Ягода. Они были опубликованы в прессе. Но на протяжении всего процесса никто в России не осмеливался напомнить о том, что Ягода был хозяином кремлевской кухни.

Разумеется, ему были предъявлены и другие обвинения. Оказывается, вдобавок к незаконному присвоению денег, отпущенных ОГПУ на строительство, он вырывал хлеб изо рта кремлевских вождей, продавая кремлевскую провизию на сторону и присваивая вырученные деньги. Эти деньги он тратил, по данным суда, на устройство оргий.

Как и другие подобные «факты», раскрытые на московских показательных процессах, эта история кражи Ягодой хлеба и мяса со сталинского стола имеет в своем основании крохотную долю правды. В период острой нехватки продуктов Ягода действительно завел практику заказывать несколько больше продуктов, чем это требовалось для Кремля. Излишки распределялись им среди голодавших сотрудников ОГПУ. Несколько лет подряд высшие чиновники ОГПУ неофициально получали продуктовые свертки сверх полагавшейся им нормы. Сотрудники военной разведки недовольно ворчали по этому поводу, и некоторое время милости Ягоды распространялись и на нас, так что и я приобщался к этим крохам с кремлевского стола.

Когда были проверены счета, выяснилось, что за Молотовым, например, числилось в десять раз больше сахара, чем он мог при всем желании потратить.

Кроме обвинения в тщательно продуманном заговоре с целью отравления людей, которых он мог бы и без того отправить на тот свет одним мановением руки, а также в продаже кремлевских продуктов, сталинский трибунал учел и тот факт, что эти украденные продукты частично раздавались им якобы в целях завоевания популярности по примеру Фуше...

Я пересказываю эти фантастические, или, вернее, кошмарные, факты не для того, чтобы развлечь читателя. Я подкрепляю фактами мое утверждение о том, что в ОГПУ в ходе чисток было утрачено само понятие вины. Причины ареста человека не имели ничего общего с предъявленным ему обвинением. Никто не искал их. Никто не спрашивал о них. В правде перестали нуждаться. Когда я говорю, что советский аппарат власти превратился в сумасшедший дом, я вкладываю в это буквальный смысл. Американцы смеются, когда я рассказываю им об этих диких случаях – и я их понимаю, – но для нас это не повод для смеха. Нет ничего смешного в том, что ваши лучшие друзья и товарищи исчезают в ночи и гибнут.

Не забывайте, что и я когда-то жил в этом сумасшедшем доме.

* * *

Цена «признаний», добываемых ОГПУ, может быть хорошо проиллюстрирована делом одного австрийского социалиста, поставленного вне закона в своей стране канцлером Дольфусом и нашедшего убежище в Стране Советов. Его арестовали в Ленинграде в 1935 году. Начальник ленинградского ОГПУ Заковский якобы получил от него признание в том, что он служил в венской полиции. На этом основании он сидел в тюрьме как австрийский шпион. Каким-то образом заключенный сумел послать письмо Калинину, который числился Президентом Советского Союза. Дело передали Слуцкому. Однажды он позвонил мне по этому поводу.

– Вальтер, здесь какое-то шущбундовское дело, я ничего в нем не понимаю. Помогите мне. Это по вашей части, – сказал он.

– Пришлите мне досье, я постараюсь разобраться.

Бумаги мне вскоре принес посланец Слуцкого. Вначале шел доклад Заковского его московскому начальству. Он сообщал, что от заключенного получено признание. Дело самое обычное. При

даче показаний подследственный не сопротивлялся, но меня одолевали сомнения. Перелистывая бумаги, я натолкнулся на анкету того типа, какую заполняет каждый иностранец, въезжающий в Советский Союз. Там была подробно изложена биография арестованного. Сообщалось, что он вступил в Австрийскую соцпартию накануне мировой войны, служил на фронте, а после войны по указанию своей партии, располагавшей большинством в Вене, поступил на службу в муниципальную полицию. На 90 процентов она состояла из социалистов и входила в Амстердамский Интернационал. Все это значилось в анкете. В ней сообщалось также, что, когда социалисты потеряли власть в Вене, он одновременно с другими офицерами-социалистами был уволен из полиции, а затем командовал батальоном «шущбунда» — социалистических оборонных отрядов — во время февральских боев 1934 года против фашистского «хаймвера». Я позвонил Слуцкому и объяснил все это.

— Этот австрийский социалист служил в полиции по указанию своей партии точно так же, как вы поступаете у нас. Я пошлю вам об этом докладную.

Слуцкий поспешил ответить:

— Нет, нет, никаких докладных. Зайдите ко мне в кабинет.

Придя к нему, я объяснил еще раз, что социалист не может считаться шпионом нынешней Австрии, если он был полицейским при власти социалистов.

Слуцкий был согласен.

— Я понял, Заковский заставил его признаться, что он работал полицейским при социалистах! Вот это признание! Но не вздумайте писать докладные! В наши дни никто их не пишет.

Несмотря на шутливый тон своих реплик, Слуцкий ходатайствовал перед Калининым в защиту австрийца.

Заковский действовал в полном соответствии с задачами ОГПУ. «Признания», подобные тем, что он якобы получил, были хлебом насущным, которым жило ОГПУ. Мой австрийский социалист был виноват не более других сотен тысяч людей, которых постигла злая судьба.

Показателен разговор, который был у меня в то время с Кедровым, одним из самых опытных следователей ОГПУ. Я встретил его в нашей столовой, и мы разговорились о генерале Примакове, делом которого он занимался. В 1934 году этот генерал, член высшего командования армии, был арестован и отдан в руки Кедрову. Последний приступил к обработке своей жертвы с помощью всех тех методов, какие тогда были в ходу. Сам он говорил о них с признаками смущения.

— Но знаете, что случилось, — неожиданно заявил он. — Только

он начал раскалываться, и мы знали, что пройдет немного дней или недель– и мы получим его полное признание, как он был вдруг освобожден по требованию Ворошилова!

Из этого эпизода ясно видно, что обвинения против арестованного– даже готового «признаваться во всем»– не имеют никакого отношения к причинам, по которым он содержится в заключении. За рубежами Советского Союза люди спорят о том, верны или не верны обвинения, предъявляемые органами ОГПУ. В этом учреждении вопрос об этом даже не возникает, следствие им нисколько не интересуется.

Генерал Примаков, вырванный из лап ОГПУ накануне «полного признания», служил еще три года своей стране, но 12 июня 1937 года был расстрелян вместе с маршалом Тухачевским и семью другими видными военачальниками по новым, совершенно иным обвинениям.

* * *

Только один раз в жизни, в августе 1935 года, мне пришлось допрашивать политического заключенного. Это был Владимир Дедушок, осужденный в 1932 году к десятилетнему сроку заключения в Соловецких лагерях. Арестован он был по скандальному делу нашего главного военного разведчика в Вене, якобы связанного с германской военной разведкой. Дедушок, которого я знал лично, был ни в чем не виноват, но местный наш шеф был в тот момент слишком важной персоной, чтобы его засадить немедленно. Дедушок стал просто козлом отпущения. Это был украинец, пришедший к большевикам в годы Гражданской войны. Прослужил он в военной разведке более десяти лет. За время моей работы в этом учреждении я не раз сталкивался с последствиями упомянутого венского дела, отнюдь не ясного. Решив, что Дедушок, быть может, поможет мне прояснить его, я спросил Слуцкого, нельзя ли допросить этого осужденного. Оказалось, что дело это в руках отдела ОГПУ, возглавляет который Михаил Горб. Я связался с ним.

– Вам повезло, – сказал Горб, – этот Дедушок сей час на пути из Соловков. Его везут в Москву для допросов в связи с заговором командиров кремлевского гарнизона.

Через несколько дней Горб сообщил, что Дедушок – на Лубянке, следовательно его Кедров.

Я сговорился с Кедровым о вызове к нему заключенного к 11 часам того же вечера. По моему положению я не имел права допрашивать арестованных. Это было функцией ОГПУ, но в

исключительных случаях допускалось свидание с подследственным в присутствии представителя НКВД. Я заранее пришел в кабинет к Кедрову, в комнату № 994 на Лубянке, и объяснил то, что связано с моим делом. Мне нужно было узнать подробнее обстоятельства следствия и вынесения приговора Дедушку.

– Прочтите это, и вы все узнаете, – сказал Кедров, указав на толстое досье.

В нем было несколько сотен страниц– протоколов допросов, письменных показаний, рекомендательных писем, полученных в свое время Дедушкой, и т. д. Наконец я добрался до его перекрестного допроса, вел который не Кедров. После ряда вопросов и ответов более или менее формального свойства протокол прерывался и следовало пространное изложение, собственноручно написанное подследственным. Следователь ОГПУ или спешил, или устал, как это часто бывало, и поручил Дедушку самому написать все, что он знает, в присутствии часового. Прочитав его повествование, я понял, что он совершенно невиновен, хотя и подписал свое формальное признание. Кедрову я сказал:

– Что за странное дело вся эта писанина. 600 страниц текста, из которых ничего не следует, а в конце: Дедушок признает свою вину и следователь предлагает коллегии ОГПУ отправить его на Соловки на десять лет. Коллегия, за подписью Агранова, соглашается.

– Я тоже это пробежал, – сказал Кедров, – но не разобрался, в чем дело.

Была уже полночь, когда Кедров позвонил коменданту изолятора и попросил привести Дедушка. Через десять минут он был здесь в сопровождении часового. Высокий, с резкими чертами, прилично одетый, в белой рубашке и чисто выбритый, он показался мне совсем не изменившимся. Только за те три года, что я его не видел, волосы у него совершенно побелели. Он смотрел в упор на Кедрова, потом заметил меня, сидящего на диване.

– Что вы хотите от меня? Зачем привезли из Солов ков? – спросил он.

Кедров молчал, Дедушок обратился ко мне:

– Меня затребовал Четвертый отдел?

– Нет, не Четвертый отдел, – ответил Кедров. – Мы привезли вас сюда по другим причинам. У Кривицкого к вам есть вопросы.

Атмосфера стала напряженной. Дедушок переводил взгляд с Кедрова на меня. Он замер, собираясь давать отпор нам обоим. Оба мы затагнули паузу. Наконец я нарушил молчание:

– Дедушок, я не знаю вашего дела и не имею полномочий касаться его. Но я занимаюсь делом «Х» – помните, из нашей разведывательной службы. Думаю, что вы могли бы прояснить мне ряд моментов. Если вы вспомните некоторые детали этого дела, вы сможете быть мне полезным. Если нет, я попытаюсь выяснить их другим путем.

– Да, этого дела я не забыл. Попытаюсь ответить на ваши вопросы.

Но я задал ему другой вопрос:

– Как идут ваши дела вообще?

Он ответил в стоическом духе:

– Поначалу было очень плохо. Сейчас лучше. Я наве дую теперь мукомольней в нашем островном лагере. Ре гулярно получаю «Правду», иногда книги. Вот так и живу.

Теперь была его очередь поинтересоваться, как идут мои дела.

– Неплохо, – ответил я. – Работаем вовсю, жизнь идет по-советски.

Так больше часа ушло на беседу о том о сем. Когда же я заговорил о том, что было поводом для этой встречи, Кедров перебил:

– Знаете, я чертовски устал. Вижу, у вас здесь надолго. Устроим так, чтобы я мог поспать!

Строгие правила требуют, чтобы Кедров присутствовал в продолжение всей беседы. Он один имеет право вызвать заключенного и отправить его назад в камеру. Кедров посоветовал позвонить Горбу и условиться с ним.

Горб не был формалистом.

– Ладно, – согласился он, – сделаем исключение. Я скажу начальнику тюрьмы, что вы подпишете ордер на возвращение заключенного в камеру.

Когда Кедров ушел, Дедушок несколько расслабился. Указывая на свое дело, он спросил безличным тоном, как если бы бумаги касались не его:

– Читали ли вы эту писанину?

Я ответил, что читал.

– Ну и что вы об этом думаете?

Я мог дать только один ответ:

– Вы же признались, не так ли?

– Да, я признался.

Дедушок попросил достать ему чаю и бутерброд, и я тотчас распорядился. Скоро мы забыли, беседуя, о цели его вызова. Он сказал, что ждал в лагере свидания с женой – награду за его хорошее поведение, но теперь, после вызова в Москву, он вряд ли

ее увидит. Он не задержался на этой теме, но обратился с интересом к шкафам, где стояли книги на русском и иностранных языках, взял в руки несколько томов и жадно их разглядывал. Я обещал попросить Кедрова дать ему кое-что почитать. В четыре часа утра мы еще не дошли до цели нашей встречи. Дедушок хорошо понимал и свое и мое положение. Он догадывался, что я могу легко оказаться в его положении, и не захотел представлять себя мучеником. Несколько часов с человеком из внешнего мира – слишком благоприятный случай, чтобы тратить их на жалобы на судьбу.

Я ему обещал, что заявлю властям ОГПУ о том, что мы должны еще раз встретиться через сутки, поскольку допрос не закончен. На рассвете я позвонил начальнику тюрьмы, попросив часового для сопровождения заключенного в камеру. Как водится, начались недоразумения, дежурный комендант сменился. Поднялся шум, и пришлось будить Горба.

На следующий вечер я явился вновь, и Кедров опять оставил нас вдвоем. Я вооружил Дедушка пером и бумагой и попросил написать обо всем, что ему известно по занимающему меня вопросу. Он справился с этой задачей минут за 20. Мы вновь раздобыли чай с бутербродом и проговорили опять до утра.

– Почему же вы признались? – задал я ему как бы мимоходом, с наигранным равнодушием вопрос под ко нец беседы, перелистывая какую-то книгу.

Дедушок сразу ничего не ответил, меряя комнату шагами, как бы занятый другими мыслями. Потом заговорил отрывочными фразами, которые мало что говорили постороннему, но были понятны всякому, кто проводит всю жизнь в советском аппарате. Дедушок не мог говорить открыто на эту тему, как не мог говорить и я. Тот факт, что я задал свой вопрос, уже ставил меня в рискованное положение, которое он легко бы мог использовать против меня. При всей осторожности, с какой он высказывался, я смог понять, что с ним произошло. Его не подвергали пытке третьей степени. Ему лишь раз заявил его следователь, что он сможет отделаться десятилетним сроком, если признается в своей вине. Зная хорошо обычаи ОГПУ, он предпочел согласиться на это предложение. Он не был, конечно, замешан в заговоре, в связи с которым его привезли в Москву.

Но он уже не вернулся на свою мукомольню. Он был расстрелян...

Одним из достижений, которым особенно хвасталось ОГПУ, было «перевоспитание» крестьян, инженеров, учителей, рабочих, не питавших энтузиазма к советским порядкам, которых тысячами и миллионами хватало по всей стране и отправляли в трудовые лагеря, где приобщали к благодати коллективизма. Эти противники диктатуры Сталина, крестьяне, привязанные к своим полям, профессора, жадно впитывавшие немарксистские научные концепции, инженеры, несогласные с установками пятилетнего плана, рабочие, сетовавшие на низкую зарплату, – все эти отчаявшиеся люди миллионами переселялись по чужой воле в специально устроенный для них новый, коллективистский мир, где трудились принудительно под надзором ОГПУ и выходили оттуда покорными советскими гражданами.

Совет Труда и Оборона постановил 18 апреля 1931 года, что за 20 месяцев будет построен канал между Белым и Балтийским морями протяженностью 140 миль. Вся ответственность за строительство была возложена на ОГПУ.

Заставив пятьсот тысяч заключенных валить леса, взрывать скалы, перекрывать водные потоки, ОГПУ проложило великий водный путь точно по установленному расписанию. С палубы парохода «Анохин» сам Сталин в сопровождении Ягоды наблюдал за торжественной церемонией открытия.

Когда канал был построен, 12 484 «преступника» из полумиллиона работавших получили амнистию, у 59 526 человек были сокращены сроки наказания. Но ОГПУ вскоре пришло к выводу, что большинство «освобожденных», как и другие строители, настолько полюбили коллективный труд на канале, что их отправили на строительство другого великого проекта – канала Волга – Москва.

В апреле 1937 года я любовался на Красной площади выставленной там огромной фотографией главного строителя каналов в системе ОГПУ Фирина. Хорошо, подумал я про себя, что хотя бы один из больших людей не арестован! Через два дня мне встретился коллега, только что отозванный из-за границы. Первое, что он мне сказал, едва придя в себя от удивления, что я на свободе:

– А вы знаете, Фирину конец.

Я ответил, что это невозможно, ведь его фотография выставлена на главной площади Москвы.

– Говорю вам, что с Фириним покончено. Я был сего дня на работах канала Волга – Москва, но никакого Фирина там не было! – проговорил он.

А вечером мне позвонил друг, работающий в «Известиях». Его редакции было предписано изъять все фотографии и упоминания

Фирина – великого каналостроителя ОГПУ...

Но ОГПУ не ограничивало свои операции только Советской Россией. Вопреки всем усилиям ловких пропагандистов, внешний мир скептически относился к «признаниям» старых большевиков на московских процессах. Сталин и ОГПУ хотели доказать, что качество московских спектаклей было на самом высоком уровне, и старались устроить подобные же постановки в Испании, Чехословакии, Соединенных Штатах.

В октябре 1938 года ОГПУ подготовило суд над лидерами испанской марксистской партии ПОУМ в Барселоне по обвинению в измене, шпионаже и попытках убийства деятелей законного правительства. Москва собиралась доказать процессом над ПОУМ, что радикалы в Испании, враждебные сталинизму, – не кто иные, как «троцкисты» и «фашистские заговорщики». Но Барселона – не Москва. ОГПУ старалось как могло, но, вопреки давлению, подсудимые отказались признать, будто бы они шпионы на службе у Франко.

Впервые до меня сведения о замыслах такого рода процессов за рубежом дошли в мае 1937 года. Дело было в кабинете Слуцкого. У него закончился телефонный разговор с неизвестным мне лицом, и Слуцкий, положив трубку, заметил:

– Сталин и Ежов думают, что я могу производить аресты в Праге, как в Москве.

– Что вы имеете в виду? – спросил я.

– Требуется суд над троцкистскими шпионами в Европе. Это имело бы огромный эффект, если бы удалось его устроить. Пражская полиция должна арестовать Грилевича. Вообще говоря, они готовы сотрудничать, но с чехами нельзя обходиться попросту, как мы обходимся со своими. Здесь, в Москве, достаточно открыть пошире ворота Лубянки и гнать туда столько, сколько надо. Но в Праге остались еще легионеры, которые сражались с нами в 1918-м, и они саботируют наши действия.

* * *

Антон Грилевич, в прошлом немецкий коммунистический лидер, член прусского ландтага, позднее перешел к троцкистам и бежал в Чехословакию после прихода Гитлера к власти. Его арест в Праге, которого Слуцкий ожидал, произошел сразу вслед за расстрелом командиров Красной Армии 12 июня 1937 года. Из других источников я узнал о дальнейшем развитии замысла, родившегося в Москве.

В день его ареста чешская полиция предъявила Грилевичу

чемодан, оставленный им у его друзей несколько месяцев назад и который он, по его словам, не открывал с октября 1936 года. В чемодане были брошюры, листовки, деловая корреспонденция и другие безобидные материалы, никак не подходившие под категорию предметов, хранение которых вело к нарушению законов Чехословакии, тем более не свидетельствовало о военном шпионаже. Полицейский никаких обвинений такого рода и не предъявлял. Но вечером явился другой полицейский сыщик и завел с Грилевицем разговор о московских процессах, намекая таким образом на то, что составляло предмет его забот. И тут же предъявил Грилевичу три фальшивых паспорта, негативный снимок немецкого военного плана оккупации Судетской области с датой 17 февраля 1937 года и рукописную инструкцию по использованию невидимых чернил. Эти улики, как сыщик пытался уверить Грилевича, были найдены в его чемодане. По настоянию Грилевича была приглашена регулярная полиция, в присутствии которой он засвидетельствовал, что из вещей действительно находилось в чемодане, а что было подброшено. Тем не менее в ту же ночь он был посажен.

Переведенный вскоре в другую тюрьму, он стал предметом внимания авторитетных представителей следственной власти. Они намекнули, что люди из московского ОГПУ интересуются им и располагают «надежными друзьями» в чешской полиции.

В конце концов Грилевича освободили в ноябре, после того как он пункт за пунктом сумел отвергнуть все обвинения и доказать, что улики, которые пытались использовать против него, были явно подметными. Таким образом, ОГПУ провалилось со своей попыткой доказать, что троцкисты в Чехословакии работали на Гитлера, против правительства в Праге. Если бы эта попытка удалась, она немало помогла бы убедить Запад в том, что и в московских процессах улики чего-то стоили.

У ОГПУ существовал даже план проведения «троцкистско-фашистского» процесса в Нью-Йорке. Но до тех пор пока полная история исчезновения Джульетты Стюарт Пойнтц и подробности дела Робинсона-Рубенса не будут раскрыты до конца, трудно судить, насколько далеко зашла подготовка такого процесса.

Во всяком случае, наверняка установлено, что в конце мая – начале июня 1937 года, как раз во время дела Грилевича в Праге, Джульетта Стюарт Пойнтц, в прошлом видный лидер американской компартии, покинула свой номер в Клубе женской ассоциации по адресу: 353 Уэст 57-я улица в Нью-Йорке. Ее гардероб, книги и другие вещи были найдены в том состоянии, которое указывало, что она намеревалась вернуться к себе в тот же день. Но с этого момента о ней ничего больше не удалось

узнать. Она исчезла.

Дональд Робинсон, он же Рубенс, был арестован в Москве 2 декабря 1937 года. Его жена, американская гражданка, была арестована вскоре после этого якобы за въезд в Россию по фальшивому паспорту. Робинсон был в течение многих лет офицером советской военной разведки, работал в Соединенных Штатах и в других странах, но также пропал без вести с момента ареста. Его жена вскоре была освобождена из советской тюрьмы и в письме, poslanном дочери в США, прозрачно намекала на то, что никогда больше не увидит своего мужа живым. Г-же Рубенс, хотя и американской гражданке, так никогда и не было разрешено выехать из Советского Союза...

Самое ясное свидетельство о серьезной работе Москвы по подготовке шпионского процесса над врагами Сталина в США я почерпнул как-то из замечания Слуцкого, брошенного в беседе со мной через несколько дней после его упоминания о Грилевиче. Разговор зашел о моем прежнем сослуживце по Третьему отделу Валентине Маркине, ставшем потом шефом агентуры ОГПУ в США. (В 1934 году жене Маркина в Москве сообщили, что он убит гангстерами в ночном клубе Нью-Йорка.) В мае 1937 года Слуцкий, обращаясь ко мне, заметил:

– А вы знаете, оказывается, что ваш друг Валентин Маркин, убитый три года назад в Америке, был троцкистом и начал троцкистами всю службу ОГПУ в США.

В нашем кругу такого рода замечания никогда не рассматривались как простая сплетня. Тем более не мог просто сплетничать начальник Иностранного отдела ОГПУ. В свете его же намеков по поводу подготовки Москвой новых процессов замечание о «троцкистах» в американской службе ОГПУ, очевидно, означало, что что-то готовилось именно в США. Слово «троцкисты» употреблялось советскими должностными лицами для обозначения любых оппонентов Сталина, без различия.

Нельзя упускать из виду, что шпионаж в США вели, между прочим, и реальные агенты из числа американцев. Наряду с военным шпионажем они составляли списки антисталинистов, особенно среди радикалов и бывших коммунистов. Поэтому можно считать, что главные элементы для организации показательных процессов типа московских были, в сущности, налицо. Москва, очевидно, полагала, что ей удастся замешать в дело, наряду с настоящими американскими агентами, ни в чем не повинных антисталинистов, поставленных так или иначе в компрометирующую их позицию.

Несмотря на имевшиеся предпосылки, разработанный ОГПУ план представить американских радикалов – противников

Сталина – как агентуру гитлеровского гестапо потерпел полный провал. Ничего не удалось реализовать ни в США, ни в Советском Союзе, несмотря на весьма вероятное похищение г-жи Пойнтц и таинственный арест Робинсона-Рубенса.

* * *

В самый разгар великой чистки, когда Сталин терроризировал всю Россию, он произнес речь об узах любви, связывающих большевиков с русским народом. Он узнал где-то о греческом мифе об Антее и привел его в доказательство: непобедимость Антея – в его связи с почвой, с народными массами. В том же заключается, по словам Сталина, непобедимость большевистского руководства.

Но сталинская связь с массами держалась на существовании армии шпионов и осведомителей ОГПУ, специализированных на арестах рядовых граждан за случайные замечания против советского строя. Этот тип полицейского правления был скопирован со всей точностью в нацистской Германии. Разница в том, что к 1937 году Сталин перестал доверять даже своей армии шпионов. Он завел организацию шпионов для шпионажа за шпионами. Он никому не верил и заявлял, что сам станет своим собственным чекистом. Питая подозрения по поводу одного служащего при своей резиденции, он стал следить за ним и пришел к выводу, что этот служащий связан с сетью заговорщиков среди кремлевской охраны, замышлявших убить не только его, но и всех членов Политбюро. Один видный работник ОГПУ, рассказывая мне об этом, не находил слов, чтобы выразить, какой катастрофой для его ведомства стало неведение об этом заговоре. Тогда и родился афоризм, согласно которому «лучший чекист – это сам Сталин».

Сей никому не ведомый заговор стал предлогом для очередной волны арестов как в Кремле, так и по всей стране. Среди этих волн самые страшные были подняты стараниями Ежова. Ни один палач в истории не сделал столько для своего господина, сколько сделал для Сталина Ежов. Список ежовских жертв включает почти всех из 80 членов советского Военного совета, созданного в 1934 году, большинство членов сталинского Центрального Комитета и его Контрольной комиссии, большинство членов ЦИК, Совета Народных Комиссаров, Совета Труда и Оборона, лидеров Коммунистического Интернационала, всех начальников и заместителей начальников ОГПУ, массы послов и высших дипломатов, руководителей всех союзных и

автономных республик Советского Союза, 35 000 человек из офицерского корпуса, почти весь состав редакций «Правды» и «Известий», множество писателей, артистов, музыкантов, режиссеров, большинство руководителей комсомола – цвет поколения, от которого ожидали максимальной лояльности к Сталину.

Результат совершенного Ежовым за тридцать шесть месяцев, в течение которых он возглавлял ОГПУ, был настолько ужасен, что ему пришлось заплатить за содеянное жизнью. Ужасы репрессий достигли такой степени, что Сталину, чтобы спасти самого себя, пришлось казнить своего палача. При всем своем раболепстве и своей преданности Ежов заплатил ту цену, которую обречены платить все в сталинской России, кто поднимается на вершину власти. 8 декабря 1938 года в кратком коммюнике сообщалось, что Ежов освобожден от поста комиссара внутренних дел и заменен Лаврентием Берия, закавказским соплеменником Сталина. По обыкновению сообщалось, что Ежов якобы стал теперь комиссаром по делам речного флота, но фактически он исчез бесследно и навсегда.

Из всех чисток, предпринятых Сталиным, самой страшной, такой, которая никогда не исчезнет из памяти людей, даже если можно будет забыть все остальные, была чистка детского поколения страны. В начале 1935 года ОГПУ представило Политбюро доклад о преступности среди малолетних. Расстрелы, высылки и голод 1932–1933 годов породили новые массы беспризорных, бездомных сирот, бродящих по городам и селам. ОГПУ заинтересовалось этой трагедией подростков и в своем докладе Сталину обрисовало отчаянное положение этой части населения. Среди подростков расцветала преступность, распространялись болезни, сексуальные извращения. Особенно шокировали Сталина приводимые в докладе подробности о том, что тысячи подростков, ища спасения от физической гибели, втягивались в сферу влияния религиозных сект. Сталин решил действовать. Как ни странно, ОГПУ до сих пор ставило себе в заслугу заботу о социальной помощи детям и даже сумело «перевоспитать» какую-то весьма малую часть из миллионов беспризорных, наполнявших страну после Октябрьской революции и Гражданской войны. Но перед лицом новой волны беспризорных Сталин решил проводить иной курс.

В 1935 году, 8 апреля, в «Известиях» был помещен декрет Советского государства за подписью президента Калинина и премьера Молотова, озаглавленный «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних». Этим декретом на детей, достигших двенадцатилетнего возраста, в качестве меры

наказания за преступления от мелкого воровства до измены распространялась смертная казнь. Вооружившись этим страшным законом, ОГПУ начало устраивать облавы на сотни тысяч подростков и заключать их в концентрационные лагеря и трудовые колонии, а нередко присуждать к расстрелу.

Как раз в то время, когда совершались эти ужасы, Сталин вышел из своей полумонастырской изоляции и стал позировать перед камерами в образе покровителя детей. Мы впервые увидели его в окружении детей на их игровых площадках, сопровождающим двенадцатилетнюю девочку на трибуну парада на Красной площади, повязывающим ее шарфик на шею Ворошилову... Подобный камуфляж намеренно применялся в те страшные месяцы, когда ОГПУ истребляло жизни двенадцати-, тринадцати-, четырнадцатилетних детей, официально обвиняемых как «шпионы, предатели, троцкисты, фашисты, агенты Гитлера».

До февраля 1939 года мир не имел никакого понятия об этой самой бесчеловечной из всех чисток. Как всегда бывает, вдруг наступило время, когда потребовалось найти козлов отпущения за совершенные преступления. Они были найдены в лице третьестепенных чиновников ОГПУ, чья вина состояла в том, что они выполняли полученные приказы. В жертву были отданы местный следователь ОГПУ и несколько его подручных в Ленинск-Кузнецке на Урале. Из показаний, данных в зале судебного заседания этого уральского города, мир узнал, что 10-летние мальчики были доведены пытками до признаний в «контрреволюционных, фашистских и террористских действиях», в которых их обвиняли. Стало известно, что 160 школьников были забиты в камеры вместе с уголовниками, спали там на полу и в течение восьми месяцев подвергались непрерывным ночным перекрестным допросам. Палачи детей получили по приговорам суда сроки наказания от пяти до десяти лет. Но декрет от 8 апреля 1935 года никогда не был отменен, и число его жертв, подвергнутых пыткам и смертным казням, начиная с 1935 года никогда не будет и не может быть установлено.

Все, что стало известно из данных, открыто признанных самим Советским правительством, сводится к тому, что в городе Ленинск-Кузнецке, этой мелкой точке на карте Союза Советских Социалистических Республик, 160 школьников были обречены ОГПУ на средневековые пытки. А тем временем в газетах распространялись фотографии улыбающегося Сталина в роли любящего покровителя и друга советских детей.

РАССТРЕЛ ГЕНЕРАЛОВ

В начале декабря 1936 года, когда я был в Гааге, мне неожиданно удалось завладеть ключом к расшифровке искусного заговора, в результате которого 6 месяцев спустя Сталиным был расстрелян маршал Тухачевский и почти весь высший командный состав Красной Армии.

Есть заговоры, подготавливаемые людьми, жаждущими власти или мести. А есть заговоры, подготовленные ходом событий и обстоятельств. Порой пути двух таких заговоров пересекаются и сплетаются. Тогда человечество оказывается вовлеченным в один из тех редких запутанных клубков, которые изменяют ход истории. К этой категории принадлежит тайна уничтожения Сталиным цвета Красной Армии, представленного как банда предателей или шпионов нацистской Германии.

Это именно та тайна, которая продолжает волновать умы западного мира. Повсюду люди еще продолжают задавать вопросы: почему Сталин обезглавил Красную Армию в тот момент, когда Гитлер вел лихорадочную подготовку к войне? Была ли какая-либо связь между чистой Красной Армией и предпринимаемыми Сталиным усилиями по заключению соглашения с Германией? Был ли действительно заговор высших командиров Красной Армии против Сталина?

Случай помог мне так долго сохранять жизнь и позволил разрешить загадку, которую самые проникательные и хорошо информированные дипломаты и военные обозреватели еще тщетно пытаются разгадать.

11 июня 1937 года официальное сообщение из Москвы оповестило мир о неожиданном раскрытии заговора высших командиров Красной Армии.

На следующий день мир был ошеломлен другим официальным сообщением – о расстреле маршала Тухачевского и семи других видных генералов Красной Армии после приговора, вынесенного секретным военным трибуналом. Это были командующий Украинским военным округом Красной Армии генерал Якир, командующий Белорусским военным округом генерал Уборевич, начальник Военной академии генерал Корк и генералы: Путна, Эйдеман, Фельдман и Примаков. Гамарник, заместитель наркома обороны и начальник Политуправления Красной Армии, как сообщалось, покончил жизнь самоубийством. Из этих высших военачальников, вдруг обвиненных в шпионаже в пользу Гитлера и гестапо, трое – Гамарник, Якир и Фельдман – были евреями.

Задолго до того, как Сталин «неожиданно» обнаружил и раскрыл большой заговор в Красной Армии против его власти, я уже имел в руках, не догадываясь об этом, основное звено целой цепи событий, которые доказывали, что Сталин по крайней мере за 7 месяцев составил план уничтожения высшего командного состава Красной Армии.

Когда все элементы непостижимой головоломки великой чистки в Красной Армии были соединены воедино, законченная картина выявила следующие факты.

Сталинский план с целью опорочить Тухачевского и других генералов начал осуществляться по крайней мере за 6 месяцев до так называемого раскрытия «заговора».

Сталин расстрелял маршала Тухачевского и его соратников как немецких шпионов как раз накануне завершения сделки с Гитлером после нескольких месяцев секретных переговоров.

Сталин умышленно использовал фальшивые доказательства, полученные из Германии и сфабрикованные нацистским гестапо, в ложном обвинении самых преданных генералов Красной Армии. Это доказательство было получено ОГПУ с помощью белоэмигрантских военных организаций за рубежом.

По заданию Сталина 22 сентября 1937 года в Париже был тайно похищен генерал Евгений Миллер, возглавлявший Федерацию ветеранов царской армии. Этот дерзкий акт, который мировая общественность не связывала с чисткой Красной Армии, был совершен с целью ликвидации единственного внешнего источника информации как канала, через который гестапо представило ОГПУ ложное доказательство против руководителей Красной Армии.

* * *

Ранее, в первую неделю декабря 1936 года, специальный курьер, прибывший самолетом в Гаагу, передал мне срочное донесение от Слуцкого – начальника Иностранного отдела ОГПУ, который только что прибыл в Париж из Барселоны. Я возглавлял в это время советскую военную разведку в Западной Европе.

Как обычно, переданное нашим курьером донесение было заснято на небольшом ролике пленки с помощью специальной фотокамеры. Этот метод использовался для всей нашей почтовой корреспонденции. Когда пленку проявили и передали мне, на ней можно было прочесть следующее:

«Выбрать из наших сотрудников двух человек, способных исполнить роль германских офицеров. Они должны иметь

достаточно выразительную внешность, чтобы походить на военных атташе, должны иметь привычку разговаривать как истинно военные люди, а также должны внушать исключительное доверие и быть смелыми. Подберите их незамедлительно. Это чрезвычайно важно. Надеюсь увидеть Вас в Париже через несколько дней».

Этот приказ ОГПУ моему отделу вызвал неприятные ощущения. В своем ответе Слуцкому, отправленном с тем же курьером обратным самолетом, я не скрыл своего негодования от приказа, заставляющего меня нарушать кадровую структуру и срывать моих ключевых агентов с их постов.

Однако я все же вызвал из Германии двух подходящих агентов.

Через пару дней я вылетел в Париж, где остановился в отеле «Палас». Через своего местного секретаря я организовал встречу со Слуцким в кафе «Вьель» на Бульваре Капуцинов. Мы продолжили разговор в персидском ресторане, вблизи Пляс д'Опера.

По пути я спросил его о последних новостях нашей внешней политики.

– Мы выбрали курс на взаимопонимание с Гитлером, – сказал Слуцкий, – и начали переговоры. Они успешно продвигаются.

– И это несмотря на то, что происходит в Испании! – воскликнул я.

Мне казалось, что из-за испанских событий соглашение между нашим правительством и Германией отодвинуто на задний план.

За обеденным столом Слуцкий завершил разговор, подтвердив высокую оценку результатов моей деятельности, которую дал Ежов.

Как комиссар внутренних дел – официальная должность начальника ОГПУ – Ежов выражал мнение самого Сталина. Лично я был доволен. Но я обдумывал предыдущие замечания Слуцкого о новом направлении нашей внешней политики и ее связи с моими операциями в Германии.

– То, что ты сделал, прекрасно, – сказал он, – тем не менее ты должен свернуть свою деятельность в Германии.

– Неужели дела зашли так далеко? – спросил я.

– Вот именно. Ты должен ослабить активность своей агентуры.

– Следовательно, ты хочешь сказать, что у тебя есть инструкции для меня прекратить работу в Германии? – спрашивал я его, уже предвидя возможность иного поворота в политике, который приведет к развалу моей организации как раз

тогда, когда она будет особенно необходима. Такие вещи случались и прежде.

Слуцкий, очевидно, прочел ход моей мысли, проговорив многозначительно:

– На этот раз дела обстоят серьезно. Вероятно, осталось только три или четыре месяца до заключения со глашениа с Гитлером. Не сворачивай свою работу окончательно, но притормози активность. Помни, здесь наша служба не представляет интереса, ведь это не Франция с ее Народным фронтом. Заморозь работу своих людей в Германии. Придержи своих агентов, переправь их в дру гие страны, заставь их переучиваться, но помни, происходит изменение политики! – И чтобы окончательно рассе ять мои сомнения, сказал с ударением: – Это теперь курс Политбюро.

Политбюро – высший совет большевистской партии– к этому времени стало синонимом Сталина. Каждый в Советской России, от низшего до высшего чина, знает, что решение Политбюро – окончательное, как приказ генерала на поле боя.

– Дело зашло так далеко, – добавил Слуцкий, – что я могу ознакомить тебя с точкой зрения Сталина в его собственном изложении. Недавно он сказал Ежову: «В ближайшем будущем мы должны завершить переговоры с Германией».

Эту тему можно было больше не обсуждать. Помолчав, я обратился к нему по поводу двух моих агентов, которых Слуцкий потребовал откомандировать ему из Германии.

– Что ты задумал? Что вы, не понимаете, что делаете?

– Конечно, понимаем, – ответил Слуцкий. – Но это не обычное дело. Оно настолько важно, что мне пришлось оставить всю остальную работу и прибыть сюда, чтобы ускорить его.

Мои агенты не предназначались для специальной работы в Испании, как я первоначально думал. Очевидно, перед ними ставилась какая-то безумно сложная задача во Франции. Тем не менее я продолжал протестовать против передачи их ОГПУ, пока наконец Слуцкий не сказал:

– Так надо. Это приказ самого Ежова. Мы должны подготовить двух агентов, которые могут сыграть роль чистокровных германских офицеров. Они нам нужны не медленно. Это дело настолько важное, что все остальное не имеет никакого значения.

Я сказал ему, что уже вызвал двух лучших агентов из Германии и что они вот-вот придут в Париж. Беседа продолжалась на другие темы до глубокой ночи. Через несколько дней я возвратился в свою штаб-квартиру в Голландии. Нужно было перестроить работу моей организации в Германии.

В январе 1937 года мир был потрясен сообщением из Москвы о новой серии удивительных «признаний» на втором процессе по «делу о государственной измене».

Плеяда советских лидеров на скамье подсудимых, названных в обвинении «троцкистским центром», один за другим признавалась в гигантском заговоре, цель которого состояла в шпионаже в пользу Германии.

К этому времени я постепенно расформировал сеть нашей разведывательной службы в Германии. Московские газеты день за днем публиковали стенографические отчеты о судебном процессе. Вечером 24 января я сидел дома с женой и ребенком, читая протокол показаний свидетелей, когда вдруг мое внимание привлекла выдержка из секретного признания Радека. Он утверждал, что генерал Путна, в недавнем прошлом советский военный атташе в Великобритании, а ныне уже в течение нескольких месяцев узник ОГПУ, пришел к Радеку с «просьбой от Тухачевского». Прочитывая показание, главный прокурор Вышинский обратился с вопросом к Радеку.

«Вышинский. Скажите, в какой связи вы упомянули имя Тухачевского?»

Радек. Тухачевский был уполномочен правительством осуществить определенную задачу, для решения которой он не мог найти необходимый материал. Тухачевский не знал ничего о роли генерала Путна или о моей преступной деятельности.

Вышинский. Поэтому Путна пришел к вам по указанию Тухачевского с официальным делом, не будучи осведомлен об обстоятельствах ваших дел, так как он, Тухачевский, не имел к ним никакого отношения.

Радек. Тухачевский не имел к ним никакого отношения.

Вышинский. Если я правильно вас понял, генерал Путна поддерживал связь с членами вашей подпольной троцкистской организации и ваше упоминание Тухачевского сделано в связи с тем, что Путна был направлен к Тухачевскому по его приказу с официальным поручением?

Радек. Я подтверждаю это и заявляю, что никогда не имел и не мог иметь неофициальных дел с Тухачевским, связанных с контрреволюционной деятельностью, по той причине, что я знал позицию Тухачевского по отношению к партии и правительству и его абсолютную преданность».

Когда я прочел это, то был настолько глубоко взволнован, что моя жена спросила, что случилось. Я дал ей газету, сказав: «Тухачевский обречен».

Она прочла сообщение, но, не сумев вникнуть в его суть, возразила:

– Но Радек начисто отрицает какую-либо связь Тухачевского с заговором.

– Так точно, – сказал я. – Думаешь, Тухачевский нуждается в индульгенции Радека? Или, может быть, ты думаешь, что Радек посмел бы по собственной инициативе упомянуть имя Тухачевского на этом судебном процессе? Нет. Это Вышинский вложил имя Тухачевского в рот Радека, а Сталин спровоцировал на это Вышинского. Неужели не ясно, что Радек говорит это для Вышинского, который говорит словами Сталина. Я говорю тебе, что Тухачевский обречен.

Имя Тухачевского, упомянутое 11 раз Радеком и Вышинским в этом кратком сообщении, могло иметь только одно значение для тех, кто был знаком с методами работы ОГПУ. Для меня это был совершенно недвусмысленный сигнал, что Сталин и Ежов сжимают кольцо вокруг Тухачевского и других выдающихся генералов высшего командного состава Красной Армии. Было совершенно ясно, что вся подготовительная работа уже проведена и вот-вот начнутся открытые выступления против них.

Из официального обвинительного акта я вывел, что секретное «признание» Радека сделано в декабре. Это было время, когда я получил приказ подготовить двух «германских офицеров». Теперь они вернулись из Парижа и сообщили мне, что несколько недель находились в ожидании, в полном бездействии, а затем им разрешили вернуться, загадочно объяснив, что «работа» отодвигается на неопределенный срок.

Мы пришли к заключению, что возникли некоторые непредвиденные препятствия или же планы изменились вовсе.

«Признание» Радека, в котором фигурировало имя Тухачевского, совпадало по времени с изменением Сталиным внешнеполитической линии и со словами Слуцкого о неминуемом соглашении с Германией и его приказом свертывать мою работу в Германии.

Но почему Сталин стремится именно теперь уничтожить весь командный состав Красной Армии? Уничтожив группу Каменева–Зиновьева, своих бывших политических противников, расправившись с другим блоком оппозиции, именуемым блоком Радека – Пятакова, какими мотивами руководствовался он, продолжая борьбу против высшего командного состава нашей системы национальной обороны?

Одно дело – послать на расстрел небольшую группу политиков, таких, как Зиновьев или Каменев, которых Сталин несколько лет подвергал моральному уничтожению. Другое дело –

расправиться с руководителями национальной военной машины. Осмелится ли Сталин расстрелять деятелей такого масштаба, как маршал Тухачевский или заместитель наркома обороны, в такой критический момент международной обстановки? Осмелится ли он оставить Советские Вооруженные Силы беззащитными перед лицом врага, фактически обезглавив Красную Армию?..

* * *

Обратимся к фактам, лежащим в основе моих рассуждений. Маршал Тухачевский был самой яркой фигурой среди полководцев Октябрьской революции. В самом начале Гражданской войны, когда ему было 25 лет, он получил звание командарма Красной Армии. 12 сентября 1918 года, когда решалась судьба Советов, он одержал решающую победу над войсками белочехов под Симбирском. Весной следующего года, когда войска адмирала Колчака, продвигаясь с востока, достигли бассейна Волги и только одна шестая часть территории России оставалась в руках большевиков, Тухачевский после мощного контрудара под Бузулуком прорвал линию фронта. Закрепившись на отвоеванной территории, он начал свое знаменитое наступление на Колчака, вынудившее его откатиться на Урал, а затем и отступить в глубь Сибири. 6 января 1920 года он разбил Колчака под Красноярском, освободив от него половину Сибири. Ленин восторженной телеграммой поздравил с победой Тухачевского и его армию.

Разбив белых в Сибири, Тухачевский получил командование фронтом в Центральной России, противостоящим войскам Деникина. Немногим более чем через три месяца Деникин был отброшен к Черному морю и вынужден на кораблях перебраться в Крым, последний оплот белых.

Тем временем польские войска неожиданно начали наступление на Украине, дойдя до Киева, почти не встречая сопротивления, и 7 мая 1920 года взяли его. Однако Красная Армия, высвободившаяся на деникинском фронте, вскоре очистила Украину от белополяков и начала свое победное наступление на Варшаву. Тухачевский со своими основными силами стоял под Варшавой на расстоянии артиллерийского выстрела, а в первых числах августа был готов бросить всю свою армию на захват польской столицы. Он ожидал подхода Конной армии, которая под командованием Буденного и Ворошилова стремительно продвигалась к Львову с Юго-Западного фронта. Политкомиссаром 1-й Конной армии был Иосиф Сталин.

Реввоенсовет Красной Армии вынес решение с 1 августа передать Тухачевскому командование Западным фронтом.

Тухачевский отдал приказ командующим армиями Юго-Западного фронта повернуть войска на Люблин и прикрыть левый фланг основных сил Красной Армии во время решающей битвы на Висле. 11 августа этот приказ был подтвержден Москвой. По распоряжению Сталина Буденный и Ворошилов, а также командующий 12-й армией отказались повиноваться приказу. Конная армия продолжала двигаться на Львов. 15 августа польская армия, реорганизованная усилиями генерала Вейланда и получившая в подкрепление французскую артиллерию, нанесла удар Тухачевскому со стороны Люблина. С 15 по 20 августа поляки ринулись в наступление через люблинский прорыв, пока армия Буденного тщетно билась под Львовом.

Маршал Пилсудский писал в своих мемуарах, что тот факт, что Буденный не смог соединиться с Тухачевским, оказался решающим в войне. «Для них (т. е. для Конной и 12-й армий) единственно правильным было бы как можно ближе подойти к главным русским силам под командованием Тухачевского, и это грозило бы нам самым страшным. Все мне казалось безнадежным, и лишь неспособность армии Буденного атаковать меня с тыла и слабость, проявленная 12-й армией, вселили в нас уверенность».

Ни Тухачевский, ни Сталин никогда не смогли забыть польской кампании. На лекциях, прочитанных в Военной академии и опубликованных в виде книги в 1923 году, Тухачевский сравнил поведение Сталина под Львовом с действиями генерала Ренненкампа в сражении при Танненберге, принесшем поражение царской армии в 1914 году.

«Наша победоносная конница, – писал Тухачевский, – в те дни была втянута в ожесточенные бои под Львовом, теряя время и напрасно тратя свои силы, атакуя пехоту противника, прочно окопавшуюся на подступах к городу при поддержке кавалерии и с воздуха».

Сталин не простил Тухачевскому те дополнения, которые тот внес в его биографию. Улучив верный момент, этот человек мстил всякому, кто когда-либо задевал его за живое. Тухачевскому не было суждено стать исключением...

* * *

В прошлом действительно существовали серьезные разногласия между Сталиным и Красной Армией. Эти разногласия касались главной политической линии и

закончились компромиссом, как это обычно бывает во всех правительствах. Конечно, разногласия проистекали из страстной преданности делу революции, и никто из нас не сомневался в абсолютной лояльности к Советскому правительству отдельных представителей Красной Армии, критиковавших политику Сталина.

Происхождение и истинная подоплека разногласий между Сталиным и командным составом Красной Армии – вопрос отдельный. (Троцкистская оппозиция в армии была, разумеется, ликвидирована задолго до начала великой чистки.)

Однако здесь крайне существенно выяснить основные моменты разногласий. Насильственная коллективизация крестьянских хозяйств с высылкой и другими принудительными мерами привела к истреблению миллионов крестьян. Это немедленно отразилось на состоянии Красной Армии, которая по своему происхождению в подавляющем большинстве была крестьянской. Солдаты и новобранцы были полны негодования, горечи и, возвратившись домой, готовы были даже вступить в борьбу за родственников, пострадавших от кампании по коллективизации. Деревни были разорены и уничтожены войсками ОГПУ, которым было приказано быстро и тщательно провести работу по «ликвидации кулака». Вспыхнули крестьянские восстания на Украине и Северном Кавказе. Они были с беспощадностью подавлены специальными отрядами ОГПУ, поскольку Красной Армии нельзя было доверить расстрел русских крестьян. Моральный дух Красной Армии быстро падал. Политуправление армии, наиболее активный помощник в осуществлении политики национальной обороны, возглавляемое Гамарником, представляло собой чуткий, нервный организм, улавливающий любые колебания в своих рядах. Через Политуправление Генеральный штаб и весь командный состав армии получал информацию из первых рук, свидетельствующую о взрывчатом настроении как в солдатских казармах, так и среди крестьян в деревнях.

В 1933 году маршал Блюхер, бывший в то время командующим Особой Дальневосточной армией, направил Сталину ультиматум, в котором говорилось, что пока крестьяне Восточной Сибири не будут освобождены от существующей жесткой регламентации, он не может считать себя ответственным за оборону Приморского края и Приамурья от нападения японцев. Положение Сталина у власти было в то время настолько шатким, что он был вынужден сделать уступки крестьянам областей, находящихся в пределах округа под командованием Блюхера. Несколько лет спустя Сталину пришлось внести поправки в

общую программу коллективизации, в результате чего колхозники получили в пользование небольшие участки земли.

Борьба Советской власти и крестьянства на этом не кончилась. Она вспыхнула с новой силой теперь, летом 1939 года, с проведением в жизнь указа о том, что колхозники не имеют права приступать к работе на своих участках, не выполнив норм на колхозном поле. Для всякого командующего Красной Армии в наши дни становилось ясно, что спустя десять лет после попытки «решить» проблему сельскохозяйственного производства за спиной каждого колхозника должен стоять сотрудник ОГПУ, чтобы обеспечить поставки продовольствия на случай войны.

Такие же чувства, естественно, разделяли Генеральный штаб и командный состав во главе с Тухачевским.

Другая причина появившихся к этому времени разногласий кроется в сталинской политике уступок перед лицом японской агрессии, первым делом выразившейся в продаже важной в стратегическом отношении Китайско-Восточной железной дороги. Это также волновало Красную Армию, особенно офицеров. Военный комиссар Ворошилов в это время был полностью на стороне командующих Красной Армии и вместе с Гамарником и Тухачевским отстаивал точку зрения военных на сталинском Политбюро. Эта «оппозиция» настаивала на том, что, во-первых, крестьянство нельзя восстанавливать против, если мы хотим, чтобы Красная Армия оставалась надежной, и, во-вторых, что советская политика в отношении Японии должна быть твердой. Сталин утверждал, что коллективизация создаст прочную экономическую основу для укрепления мощи Советского Союза, что все следует принести в жертву этой политике и что Россия должна добиваться мира любой ценой, чтобы завершить строительство социализма.

В течение ряда лет Тухачевский безуспешно обращался к Сталину с требованием выделить ресурсы для модернизации технического оснащения Красной Армии. И в этом он находил поддержку среди молодых офицеров, выпускников советских военных академий. Сталин знал об этой давней мечте Тухачевского и решил пойти ему навстречу. Таким путем был заключен политический договор, по которому Сталин получал свободу действий во внешней и внутренней политике, а руководство Красной Армии – финансовую поддержку для ускорения ее модернизации. Армия в значительной мере преуспела, выполняя свои обязательства по этой сделке; что же касается колхозов, то, как об этом свидетельствуют указы, вышедшие этим летом, им так и не удалось стать прочной экономической основой.

Такова сущность так называемой «оппозиции» Красной Армии Сталину.

В действительности это был один из случаев многочисленных политических разногласий, которые возникали на различных этапах создания и развития советской системы национальной обороны. Однако тогда это столкновение мнений породило за границей множество самых невероятных слухов о борьбе за власть между Ворошиловым и Сталиным. На самом деле ничего подобного не было. Нечто похожее случалось и в прошлом, когда возникали расхождения во взглядах между Сталиным и различными политическими оппозиционными группами...

* * *

Теперь мне стало ясно, что Сталин решил свести счеты с командующими Красной Армии так же, как он уже сделал это со своими политическими противниками.

Момент был выбран самый подходящий. Коллективизация перешла из острой стадии кризиса в застойную, хроническую болезнь.

Высшие командиры Красной Армии избежали участи, которую более десятилетия испытывала на себе политическая оппозиция. Военные жили вне той особой партийной атмосферы, в которой люди то и дело «отклонялись» от верного сталинского курса, «раскаивались в своих ошибках», снова «отклонялись», снова «раскаивались», навлекая на себя все более суровые кары, все сильнее расшатывая свою собственную волю. Дело, которым занимались военные, укрепляя армию и систему обороны страны, сохранило им их моральный дух.

Сталин знал, что Тухачевский, Гамарник, Якир, Уборевич и другие командиры высших рангов никогда не будут сломлены до состояния безоговорочной покорности, которую он потребовал теперь от всех, кто его окружал. Это были люди исключительного личного мужества. К тому же он помнил времена, когда его собственный престиж был низок, как никогда, а эти генералы, особенно Тухачевский, пользовались огромной популярностью не только у командиров и рядовых красноармейцев, но и у всего остального народа. Он помнил также, как в критический период для его власти во время принудительной коллективизации, голода и восстаний военные с неохотой поддерживали его, ставили препоны на его пути, вынуждали его идти на уступки. Он вовсе не был уверен, что теперь, столкнувшись с резкой переменой в его внешнеполитическом курсе, они будут по-

прежнему признавать его полновластие.

Таков был мой ход мыслей, и я тогда пытался угадать, какой способ выберет Сталин для «ликвидации» своих генералов.

До меня из Москвы стали доходить известия, свидетельствующие об усиливающейся изоляции не только Тухачевского, но и нескольких других генералов. Многие из его ближайших помощников были арестованы. Кольцо вокруг Тухачевского сжималось все сильнее. Для тех из нас, кто находился за пределами России, становилось ясно, что его не спасут ни блестящая характеристика, ни занимаемое положение. Единственная возможная ситуация, которая могла спасти его, это международный кризис. Даже Сталин едва ли решился бы оставить фронт открытым перед лицом военной опасности.

В марте 1937 года я вернулся в Москву под предлогом обсуждения с Ежовым одного исключительно секретного дела. Однако реальным мотивом было страстное желание узнать, что в действительности происходит. Цель двух судебных процессов по «делу о государственной измене» старых большевиков была полной загадкой для всех просоветских сил в Западной Европе. Масштаб сталинской чистки возрастал день ото дня, и это подтачивало единство наших сторонников за границей.

В Москве я почувствовал со всей силой атмосферу террора в высших сферах Советского правительства. Размах чистки был даже больше, чем сообщалось за пределы России. Один за другим исчезали люди, которые были моими друзьями или знакомыми со времен Гражданской войны, надежные и преданные командиры Генерального штаба и других отделов Красной Армии. Никто не знал, будет ли он завтра на своем рабочем месте. Не вызывало сомнений, что Сталин плел сети вокруг всего высшего командного состава армии.

Растущее напряжение, вызванное предчувствием катастрофы, было нарушено событием, которое можно сравнить со взрывом бомбы. Это были наиболее секретные донесения из Германии, переданные мне Слуцким, который вернулся в штаб-квартиру ОГПУ в Москве. Суть новостей заключалась в том, что проект соглашения между Сталиным и Гитлером заключен и доставлен в Москву Канделаки, секретным эмиссаром Сталина в Берлине.

Давид Канделаки, выходец с Кавказа и земляк Сталина, официально состоял советским торговым представителем в Германии. В действительности он был личным посланником Сталина в нацистской Германии.

Канделаки в сопровождении Рудольфа (псевдоним секретного представителя ОГПУ в Берлине) как раз вернулся из Германии, и они оба быстро были доставлены в Кремль для беседы со

Сталиным. Теперь Рудольф, который подчинялся Слуцкому по заграничной разведывательной службе, достиг такого положения с помощью Канделаки, что был направлен непосредственно с докладом к Сталину через голову его руководителя.

Канделаки добился успеха там, где другие советские разведчики оказались бессильными. Он вел переговоры с нацистскими лидерами и даже удостоился личной аудиенции у самого Гитлера.

Истинная цель миссии Канделаки была известна только пяти-шести человекам. Сталин считал это триумфом своей личной дипломатии, так как теперь в течение многих лет он один мог контролировать ход развития Советского государства. Только немногие из его ближайших помощников знали об этих переговорах.

Наркомат иностранных дел, Совет Народных Комиссаров, то есть советский кабинет министров, и Центральный Исполнительный Комитет, возглавляемые председателем Калининным, не принимали участия в политической игре Сталина – Канделаки.

Для советских внутренних кругов, конечно, не было секретом, что Сталин стремился к взаимопониманию с Гитлером. Прошло почти три года с ночи кровавой чистки в Германии, которая убедила Сталина уже в тот момент, когда произошла, что нацистский режим прочно стоит у власти и что необходимо прийти к соглашению с сильным противником.

Теперь, в апреле 1937 года, после возвращения Канделаки в Москву, Сталин был уверен, что союз с Гитлером дело решенное. В тот момент, когда шли переговоры с Гитлером, он уничтожал своих старых товарищей, объявив их немецкими шпионами. Он узнал, что в настоящее время Германия не представляет для него реальной угрозы. Путь для чистки Красной Армии был свободен.

* * *

Последний раз я увидел моего старого начальника маршала Тухачевского 1 мая 1937 года на Красной площади.

Праздник Первого мая – один из редких моментов, когда Сталин показывается на публике. Предосторожности, предпринятые ОГПУ в майский праздник 1937 года, превосходили все, что было в истории нашей секретной службы. Незадолго перед праздником я побывал в управлении Карнильева, в специальном отделе, который выдает разрешение правительственным служащим на проход в огороженное место у

Мавзолея Ленина, представляющее собой трибуну для наблюдения за парадом.

Он заметил: «Ну и времена! 14 дней мы ничего не делаем в специальном отделе, кроме как разрабатываем меры предосторожности на майский день».

Я не получил своего пропуска до самого вечера 30 апреля, пока наконец курьер из ОГПУ не доставил его мне.

Утро майского дня было ярким и солнечным. Я рано отправился на Красную площадь, и по дороге меня по крайней мере 10 раз останавливали патрули, которые проверяли не только мой пропуск, но и документы.

Я подошел к Мавзолею Ленина без пятнадцати минут 10 – время, когда начинается празднование.

Трибуна была уже почти заполнена. Весь персонал ОГПУ был мобилизован по этому случаю, их сотрудникам предписывалось одеться в гражданскую одежду, чтобы они выглядели как «наблюдатели» парада. Они находились здесь с 6 часов утра и занимали все свободные ряды. Позади и впереди каждого ряда правительственных служащих и гостей выстроились ряды сотрудников и сотрудниц ОГПУ. Таковы были чрезвычайные меры для обеспечения безопасности Сталина.

Несколько минут спустя после того, как я расположился на трибуне, знакомый, стоявший рядом со мной, подтолкнул меня локтем и прошептал: «Вот идет Тухачевский».

Маршал шел через площадь. Он был один. Его руки были в карманах. Странно было видеть генерала, профессионального военного, который шел, держа руки в карманах. Можно ли прочесть мысли человека, который непринужденно шел в солнечный майский день, зная, что он обречен? Он на мгновение остановился, оглядел Красную площадь, наполненную толпами людей, платформами и знаменами, и проследовал к фасаду Мавзолея Ленина – традиционному месту, где находились генералы Красной Армии во время майских парадов.

Он был первым из прибывших сюда. Он занял место и продолжал стоять, держа руки в карманах. Несколько минут спустя подошел маршал Егоров. Он не отдал чести маршалу Тухачевскому и не взглянул на него, но занял место за ним, как если бы он был один. Еще через некоторое время подошел заместитель наркома Гамарник. Он также не отдал чести ни одному из командиров, но занял место в ряду, как будто бы он никого не видит.

Вскоре ряд был заполнен. Я смотрел на этих людей, которых знал как честных и преданных слуг революции и Советского правительства. Несомненно, они знали о своей судьбе. Каждый

старался не иметь никакого дела с другим. Каждый знал, что он узник, обреченный на смерть, которая отсрочена благодаря милости деспотичного хозяина, и наслаждался тем немногим, что у него еще оставалось: солнечным днем и свободой, которую толпы людей и иностранные гости и делегаты ошибочно принимали за истинную свободу.

Политические лидеры правительства во главе со Сталиным стояли на ровной площадке на вершине Мавзолея. Военный парад начался.

Обычно генералы оставались на своих местах во время демонстрации трудящихся, которая следовала за военным парадом. Но на этот раз Тухачевский не остался. В перерыве между двумя парадами маршал вышел из ряда. Он все еще держал руки в карманах, шагая по опустевшему проезду прочь с Красной площади, и скоро скрылся из виду. 4 мая его поездка во главе делегации, которая должна была присутствовать на коронации Георга VI, была отменена. Вместо него назначен адмирал Орлов, нарком Военно-Морского Флота. Но поездка адмирала также не состоялась, и он был позже расстрелян.

* * *

Я уже собирался вернуться в свою штаб-квартиру за границей, предварительно обсудив с наркомом Ежовым дело, которое заставило меня приехать в Москву. Одна из таких бесед происходила ночью. Ежов хотел видеть меня одного, и мы просидели с ним до четырех часов утра. Выйдя из его кабинета, я был удивлен, увидев Слуцкого, начальника Иностранного отдела ОГПУ, и его помощника Шпигельгласа, которые ждали меня. Они были явно озадачены моей ночной беседой с Ежовым.

Я подготовился к отъезду и спросил про свой паспорт. Мои близкие друзья посмеялись над моими приготовлениями:

– Они не дадут тебе разрешения на отъезд.

Действительно, наступило время, когда ответственных работников отзывали из всех стран мира и никто не получал назначений за рубеж, а я был военным.

11 мая Тухачевского понизили до начальника Приволжского военного округа. Он так и не вступил в должность. Неделью спустя был арестован замнаркома обороны Гамарник, наипреданнейший член большевистской партии. Это был признак, говоривший о том, что Сталин приступил к планомерному уничтожению высшего командного состава Красной Армии.

В эти дни последовал такой поток арестов и расстрелов

людей, с которыми я был связан всю жизнь, что казалось, будто крыша трещит над Россией и все здание Советского государства рушится вокруг меня.

У меня еще не было разрешения на отъезд, и я действовал, решив, что его не выдадут. Я послал телеграмму жене в Гаагу, чтобы она подготовилась к возвращению в Москву с ребенком. И вдруг мне неожиданно сообщили, что мой паспорт готов и я могу приступить к исполнению своих обязанностей за границей, причем немедленно.

В последние дни перед моим отъездом из Москвы общая тревога достигла небывалого накала. Каждый час доходили до меня известия о новых арестах.

Я пошел прямо к Михаилу Фриновскому, заместителю наркома ОГПУ, который вместе с Ежовым проводил великую чистку по приказу Сталина.

– Скажите, что происходит? Что происходит в стране? – добивался я от Фриновского. – Я не могу выполнять свою работу, не зная, что все это значит. Что я скажу своим товарищам за границей?

– Это заговор, – ответил Фриновский. – Мы как раз раскрыли гигантский заговор в армии, такого заговора история еще никогда не знала. Но мы все возьмем под свой контроль, мы их всех возьмем. Нам теперь стало известно о заговоре с целью убийства самого Николая Ивановича (Ежова).

Фриновский не привел доказательств существования заговора, так «неожиданно» раскрытого ОГПУ. Но в коридорах Лубянки я столкнулся с Фурмановым, начальником отдела контрразведки, действующего за границей среди белоэмигрантов.

– Скажи, тех двоих первоклассных людей это ты по слал к нам? – спросил он.

Я не понял, о чем речь, и спросил:

– Каких людей?

– Ты знаешь, немецких офицеров, – ответил он и начал шуткой укорять меня за упорство, с которым я не желал отпускать моих агентов в его распоряжение.

Это дело полностью выскользнуло у меня из памяти. Я спросил у Фурманова, как ему удалось узнать обо всем этом.

– Так это было наше дело, – с гордостью ответил Фурманов.

Я знал, что Фурманов в ОГПУ отвечал за антисоветские организации за рубежом, такие, как Международная федерация ветеранов царской армии, во главе которой стоял живший в Париже генерал Миллер. Из его слов я понял, что двое моих агентов были направлены на связь с русскими белоэмигрантскими группами во Франции. Я вспомнил, что

Слуцкий назвал это делом величайшей важности. Фурманов теперь дал мне понять, что существовал реальный заговор, послуживший мотивом чистки Красной Армии. Но до меня это тогда не дошло.

Я выехал из Москвы вечером 22 мая. Это было похоже на бегство из города в разгар землетрясения. Маршала Тухачевского арестовали. В ОГПУ ходили упорные слухи о том, что Гамарника тоже арестовали, хотя «Правда» дала сообщение о том, что он избран в состав Московского Комитета партии, что делалось только с ведома и одобрения самого Сталина. Я вскоре смог разобраться в этих противоречивых фактах. Сталин загнал в угол Гамарника, одновременно предложив ему в последнюю минуту передышку при условии, что он согласится на то, что его имя будет использовано для уничтожения Тухачевского. Гамарник отверг это предложение.

В конце месяца я прибыл в Гаагу. Официальный бюллетень из советской столицы оповещал мир о том, что заместитель военного наркома Гамарник покончил жизнь самоубийством в ходе расследования. Позже я узнал, что Гамарник не покончил жизнь самоубийством, а был убит в тюрьме людьми Сталина.

* * *

11 июня Москва опубликовала первое сообщение об аресте Тухачевского и семи других командиров высших рангов, объявив их нацистскими шпионами и сообщниками Гамарника. 12 июня пришло известие о расстреле восьми военачальников, якобы по приговору военного трибунала из шести военачальников высших рангов.

По крайней мере один из этих шести судей, генерал Алкснис, по моим данным, уже был узником ОГПУ в тот момент, когда он, как сообщалось, вершил суд над своим прежним начальником Тухачевским.

Позже Алкснис был казнен. Такая же участь постигла двух других членов военного трибунала – генералов Дыбенко, Белова. Маршал Блюхер, четвертый член этого трибунала, попал в лапы ОГПУ через несколько месяцев.

На самом деле перед военным трибуналом не предстал ни один человек из группы Тухачевского. Не существовало даже подобия обвинения, выдвигаемого против этих жертв. Восемь генералов не были даже казнены вместе. Заключенные расстреляны по отдельности в разные дни. Ложное сообщение о том, что суд состоялся, сделано Сталиным для того, чтобы

рядовые военные поверили этой сказке о «внезапном» раскрытии заговора в Красной Армии.

Насколько внезапным было открытие, насколько реальным был заговор и каков был характер свидетельств этого «заговора, которого не знала история» – все эти вопросы разрешились сами собой, когда я вернулся в Париж.

Помощник начальника контрразведки ОГПУ Шпигельгласс прибыл в Париж в начале июля из Москвы с особо важной миссией. У нас с ним была назначена встреча в кафе «Клозери-де-Лиля» на бульваре Монпарнас. Наша беседа продолжалась несколько часов. Разговор зашел о деле Тухачевского.

Знакомство со статьей, озаглавленной «Кризис иностранной секретной службы», которая появилась в газете «Правда» вслед за расстрелом, позволило сделать мне открытие.

Что за глупая статья и кого она введет в заблуждение? – сказал я. – Москва доказывает миру, что разведка Германии имела на своей службе как минимум восемь маршалов и генералов Красной Армии. Основная цель статьи, вероятно, состоит в попытке доказать наличие кризиса в разведслужбе Германии. Какой нелепый аргумент! Автору следовало бы приложить больше усилий, чтобы доказать такую серьезную точку зрения. Она просто сделает нас предметом насмешек за границей.

Но статья была написана не для вас и не для осведомленных людей, – возразил Шпигельгласс. – Она предназначена для широкого круга читателей внутри страны.

– Это ужасно для нас, советских людей, – сказал я. – Оповестить мир о том, что германская разведка смогла завербовать в качестве шпионов фактически весь Генштаб Красной Армии. Вы, сотрудники ОГПУ, должны знать, что если наша контрразведка преуспеет и завербует одного полковника какой-нибудь иностранной армии, то это станет событием огромного значения. Об этом немедленно доведут до сведения самого Сталина, и он будет считать это великим триумфом. Если Гитлер преуспел в вербовке восьми наших главнокомандующих, то сколько еще младших командиров являются его шпионами в нашей Красной Армии.

– Чепуха! – возразил Шпигельгласс. – Они у нас все в руках, мы всех их вырвали с корнем, – провозгласил он возбужденным тоном.

Я передал ему содержание короткой секретной депеши от одного из моих ведущих агентов в Германии. На официальном приеме, устроенном высокопоставленными нацистскими чиновниками, на котором присутствовал мой агент, был поднят вопрос о деле Тухачевского. Капитану Фрицу Видеманну,

личному секретарю Гитлера по политическим вопросам, назначенному в феврале 1939 года на пост генерального консула Германии в Сан-Франциско, был задан вопрос – была ли доля правды в сталинских обвинениях, предъявленных генералам Красной Армии? В сообщении моего агента воспроизводился хвастливый ответ Видеманна:

– У нас не восемь шпионов в Красной Армии, а гораздо больше. ОГПУ еще не напало на след всех наших людей в России.

* * *

Я хорошо знал цену таких заявлений, также как и офицер контрразведки любой страны. Это был тип информации, специально предназначенной для широких кругов и порочащей моральный облик противника. На языке военной разведки это известно как дезинформация.

Уже во время Первой мировой войны немецкий генерал Штафф создал службу, известную под названием «служба дезинформации». Эксперты этой службы стряпали всевозможные секретные военные планы и приказы, которые затем попадали окольными путями в руки врага в качестве подлинных документов. Преследовалась цель ввести врага в заблуждение, сбить с пути истинного. Иногда даже у военнопленных находили настолько тонко разработанные секретные планы на основе некоторых фактов, что тот, кто взял пленного, был уверен, что получил бесценную информацию.

Эта характерная особенность шпионажа и контршпионажа была до последнего времени составной частью военных служб известных европейских государств. Всемогущая секретная служба тоталитарных диктатур переняла эту практику. Развитие искусства дезинформации шло параллельно с усиливающимися попытками таких организаций, как ОГПУ и гестапо, внедрить шпионов в лагерь противника под маской преданных агентов.

Шпигельгласс, ветеран ЧК и ее преемника ОГПУ, был хорошо знаком с этой практикой. Однако он отmel подозрения о том, что в Красной Армии гораздо больше нацистских агентов.

– Уверяю вас, – сказал он, – за этим ничего не стоит. Мы все выяснили еще до разбора дела Тухачевского и Гамарника. У нас тоже есть информация из Германии. Из внутренних источников. Они не питаются салонными беседами, а исходят из самого гестапо. – И он вытащил бумагу из кармана, чтобы показать мне. Это было сообщение одного из наших агентов, которое убедительно подтверждало его аргументы.

– И вы считаете такую чепуху доказательством? – парировал я.

– Это всего лишь пустячок, – продолжал Шпигельгласе, – на самом деле мы получали материал из Германии на Тухачевского, Гамарника и всех участников клики уже давным-давно.

– Давным-давно? – намеренно повторил я, думая о «внезапном» раскрытии заговора в Красной Армии Сталиным.

– Да, за последние семь лет, – продолжал он. – У нас имеется обширная информация на многих других, даже на Крестинского. (Крестинский был советским послом в Германии на протяжении 10 лет, а позже заместителем наркома иностранных дел.)

Для меня не было новостью, что в функцию ОГПУ входило наблюдение и сообщение о каждом шаге должностных лиц и военных независимо от ранга, и в особенности когда эти лица находились в составе миссий за границей. Каждый советский посол, министр, консул или торговый представитель был объектом такого наблюдения. Когда такой человек, как Тухачевский, выезжал из России в составе правительственной комиссии для участия в похоронах короля Георга V, когда человек масштаба генерала Егорова направлялся с визитом доброй воли в страны Балтики, когда офицер типа генерала Путны получал назначение на пост военного атташе в Лондоне – все их приходы и уходы, все их политические разговоры становились предметом донесений, в избытке направляемых в Москву агентами ОГПУ.

Как правило, правительство доверяет своим слугам, в особенности тем, которые занимают ответственные посты, и не обращает внимания на очернительства, содержащиеся в шпионских донесениях.

Работая в Генштабе в Москве, мне, например, представилась возможность прочитать донесения о моей собственной деятельности в Германии, в основе которых лежали факты, подтасованные таким образом, чтобы скомпрометировать меня. Даже в Советском правительстве в прошлом было обычным делом знакомить с таким материалом человека, замешанного в этом деле. Сталин все это отменил. Взяв под контроль ОГПУ, он начал собирать в особо секретном кабинете все донесения подобного рода, касающиеся всех ответственных работников Советского правительства. Эти досье росли и пухли от материала, который поступал от разветвленной сети ОГПУ. Не имело значения, насколько фантастичными, фальшивыми и подозрительными были обвинения против выдающихся советских военачальников. Угодливые сотрудники ОГПУ не брезговали ничем. Сталин считал, что будет полезно на всякий случай иметь компрометирующие факты на всех.

Секретное досье ОГПУ стало наполняться материалами, фабрикуемыми различными иностранными «службами дезинформации», включая гестапо. Я напомнил Шпигельглассу о бесполезности таких доказательств, выдвигаемых против Красной Армии.

– Вы действительно всерьез полагаетесь на информацию из Германии? – заметил я.

– Мы получаем информацию через кружок Гучкова, – ответил Шпигельгласс, – туда внедрен наш человек...

– Когда Шпигельгласс сказал мне, что сведения против Тухачевского получены от агентов ОГПУ в гестапо и попадали в руки Ежова и Сталина через кружок Гучкова, я едва удержался, чтобы не ахнуть.

Кружок Гучкова представлял собой активную группу белых, имеющего тесные связи, с одной стороны, в Германии, а с другой стороны, самые тесные контакты с Федерацией ветеранов царской армии в Париже, возглавляемой генералом Миллером.

Основателем кружка был Александр Гучков, известный член Думы, возглавлявший Военно-промышленный комитет при царском правительстве во время Первой мировой войны. В юности Гучков возглавлял добровольческую русскую бригаду во время англо-бурской войны. После свержения самодержавия был военным министром. После Октябрьской революции организовал за границей группу русских военных экспертов и поддерживал связи с теми элементами в Германии, которые были прежде всего заинтересованы в экспансии Германии на Востоке.

Кружок Гучкова долгое время работал на генерала Бредова, начальника контрразведки германской армии. Когда Бредов был казнен в ходе гитлеровской чистки 30 июня 1934 года, его отдел и вся его заграничная сеть были переданы под контроль гестапо. Кружок продолжал служить гестапо даже после смерти самого Гучкова в 1936 году.

По данным Шпигельгласса, связь ОГПУ с кружком Гучкова была по-прежнему такой же тесной. Дочь самого Гучкова была агентом ОГПУ и шпионила в пользу Советского Союза. Однако у ОГПУ был человек в самом центре кружка. Было очевидно, что клика Миллер – Гучков, состоящая из белых, имела в своих руках оригиналы главного «доказательства» измены Тухачевского, использованного Сталиным против высшего командного состава Красной Армии.

Ключ к разгадке «заговора, которого не знала история» попал в мои руки в Париже утром 23 сентября 1937 года. Я делал подборку газет с кричащими заголовками, повествующими о похищении генерала Евгения Миллера, главы Федерации ветеранов царской армии, в полдень, в среду, 22 сентября. Оказалось, что в 12 часов 10 минут перед выходом из своего кабинета Миллер вручил помощнику запечатанный конверт со словами: «Не думайте, что я сошел с ума, однако на сей раз я оставляю вам запечатанное послание, которое прошу вскрыть лишь в том случае, если не вернусь».

В тот день Миллер не вернулся. Тогда было приглашено несколько его коллег для вскрытия конверта. В нем лежала записка следующего содержания:

«Сегодня в 12 часов 30 минут у меня назначена встреча с генералом Скоблиным на углу улиц Жасмэ и Раффэ. Он должен взять меня на randevu с двумя немецкими офицерами. Один из них – военный атташе сопредельного государства Штроман, полковник, другой – герр Вернер, сотрудник здешнего германского посольства. Оба хорошо говорят по-русски. Встреча организована по инициативе Скоблина. Возможно, это ловушка, поэтому я оставляю вам эту записку».

Я был поражен ссылкой в записке Миллера на «двух немецких офицеров», возможно, заманивающих его в ловушку. Итак, такова была «колоссальная» работа, для выполнения которой Слуцкий откомандировал двух моих лучших агентов еще в начале декабря 1936 года, Таким было «дело», которое Фурманов, специалист ОГПУ по контршпионажу белых, имел в виду, когда говорил мне в Москве о моих «немецких офицерах».

Генерал Скоблин был правой рукой Миллера в военной организации белых. Женой Скоблина была знаменитая русская певица, исполнительница народных песен Надежда Плевицкая. Коллеги Миллера пришли в ту ночь в отель, где проживали Скоблин и его жена. Сначала Скоблин отрицал, что знает что-либо о местонахождении Миллера или о назначенном обеде, предъявляя алиби своей непричастности. Когда ему показали записку Миллера и пригрозили отправить в полицейский участок, Скоблин, воспользовавшись удобным моментом, выскользнул из комнаты и уехал в поджидавшем его автомобиле.

Следов Миллера не было найдено. Скоблин тоже исчез.

Плевицкая была арестована как пособница преступления. Бумаги, найденные в их номере, позволили установить, что Скоблин был, вне всякого сомнения, агентом ОГПУ. Плевицкая находилась в тюрьме во время расследования и предстала перед судом в декабре 1938 года в Париже. Ее обвиняли в шпионаже в

пользу Советского Союза, и она была осуждена на 20 лет, что было очень суровым приговором, вынесенным когда-либо французским судом женщине.

Итак, генерал Скоблин – центральная фигура заговора ОГПУ против Тухачевского и других генералов Красной Армии. Скоблин играл тройную роль в этой трагедии макиавеллиевского масштаба и был главным действующим лицом, работавшим по всем трем направлениям. В качестве секретаря кружка Гучкова он был агентом гестапо. В качестве советника генерала Миллера он был лидером монархистского движения за рубежом. Эти две роли выполнялись им с ведома третьего, главного хозяина – ОГПУ.

Записка, оставленная генералом Миллером, который, вероятно, испытывал некоторые колебания в отношении встречи с двумя «немецкими офицерами», назначенной Скоблиным, стала уликой при разоблачении Скоблина. Входе следствия по делу его жены, Плевицкой, продолжавшегося с 5 декабря по 14 декабря 1938 года, которое привлекло к себе большое внимание в Европе, удалось выяснить, что Скоблин был непосредственно связан с загадочным похищением в начале 1930 года генерала Кутепова – предшественника генерала Миллера на посту главы Федерации ветеранов царской армии.

Скоблин был главным источником «доказательств», собранных Сталиным против командного состава Красной Армии. Это были «доказательства», родившиеся в гестапо и проходившие через «питательную среду» кружка Гучкова в качестве допинга для организации Миллера, откуда они попадали в сверхсекретное досье Сталина.

Когда Сталин решил, что его отношения с Гитлером позволяют ему приняться за комсостав Красной Армии, ему потребовались секретные досье ОГПУ. Конечно, он знал истинную цену таким «доказательствам». Знал, что это дезинформация чистой воды.

Однако мог существовать еще один канал утечки информации, который надо было перекрыть любой ценой, чтобы замести следы в деле против командного состава Красной Армии. Скоблин, как человек ОГПУ, был благонадежным. Лишь один человек вне гестапо мог бы поведать миру об этом деле. Этим человеком был генерал Миллер. Он знал обо всем, что находилось в руках Скоблина, и даже больше того. Если бы Миллер когда-нибудь заговорил, он мог бы обнародовать источник «доказательств» против Тухачевского и мог бы даже рассказать, через какие каналы поступала в ОГПУ эта дезинформация. Через него можно было бы установить, что существует связь между заговором Сталина против высшего

комсостава Красной Армии и двумя главными врагами Красной Армии – гитлеровским гестапо и организацией белогвардейцев в Париже. Миллера необходимо было устранить.

Похищение генерала Миллера планировалось на декабрь 1936 года, когда специальный курьер доставил мне требование Слуцкого выделить двух человек, которые сыграли бы роль «немецких офицеров». Но возникло непредвиденное препятствие. Какое? Оно выяснилось лишь во время суда над Плевицкой 11 декабря 1938 года. В тот день адвокат Рибэ прочел письмо, посланное Миллеру генералом Добровольским из Финляндии, в котором содержался намек на то, что положение Скоблина в глазах некоторых его коллег несколько пошатнулось.

– Увы! – сказал адвокат Рибэ. – Это предупреждение не пошатнуло доверия Миллера к Скоблину.

Но это доверие не могло быть бесконечным. Поэтому первоначальная дата похищения Миллера была лишь перенесена.

22 сентября ловушка, расставленная ОГПУ для Миллера, захлопнулась, он был похищен, и вскоре после этого Шпигельглас, прибывший во Францию со «специальной миссией», исчез. По данным из надежных источников, он сам стал жертвой великой чистки. Спустя несколько месяцев Слуцкий «совершил самоубийство», согласно официальному сообщению в советской печати...

* * *

Чудовищный сталинский спектакль с участием высшего командного состава Красной Армии в качестве нацистских шпионов теперь стал достоянием истории. Сталин ликвидировал военную «оппозицию». Он ликвидировал генерала Миллера, который мог обнародовать связь между гестапо и сталинскими «доказательствами» вины группы Тухачевского. И он же ликвидировал ликвидаторов генерала Миллера. Лишь сделка с Гитлером, так блестяще проведенная Канделаки, оказалась не совсем такой, как ожидалось.

Остается добавить, что исчезновение двух парижских генералов 22 сентября 1937 года в Париже стало в столицах мира событием номер один. Такое же место занимали сообщения о казни восьми генералов в Москве 12 июня. Однако в печати нигде не прослеживалась связь между этим двумя событиями, за исключением одного органа информации. 27 октября 1938 года официальный нацистский военный орган «Дойче Вер» («Немецкая армия») в специальной статье, посвященной чистке Красной

Армии, сообщал о том, что человек, оклеветавший Тухачевского и его коллег, был «предателем, хорошо известным генералом Скоблиным, проживающим в Париже, человеком, который предал большевикам двух генералов– Кутепова и Миллера».

Когда поднимается завеса над загадкой казни высшего руководства Красной Армии, то становится очевидной подлинная подоплека «заговора, которого никогда не знала история».

«ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ»

Ленин, основатель Советского государства, предупреждал своих последователей против вынесения смертного приговора членам правящей партии большевиков. Он ссылался на печальный пример Французской революции, которая пожрала своих детей. На протяжении 15 лет Советская власть не нарушала этого ленинского завета. Все большевистские еретики подлежали исключению из партии, тюремному заключению, ссылке, увольнению с работы или лишению средств существования. Однако неписаный закон запрещал вынесение смертного приговора членам партии за политические проступки.

В 1932 году на специальном заседании Политбюро Сталин высказался за вынесение смертного приговора для членов партии большевиков. Заседание было созвано для рассмотрения дела новой оппозиционной группы, сформированной вожаками московской партийной организации, группы Рютина.

К этому времени последствия сталинского рывка к коллективизации в деревне стали приобретать характер национальной катастрофы. Голод охватил наиболее производительные районы страны. Начались восстания крестьян. Вспыхивало недовольство в армии. Страна была накануне экономической катастрофы. Сталинский партийный аппарат дал трещину. Все чаще поднимали голову и голоса новые большевистские оппозиционные группы, как отражение этого недовольства. Они ратовали за изменение политики и руководства в Кремле.

Группа Рютина попала в руки ОГПУ, и осведомленные круги Москвы были полны слухами об этом деле. Секретарь партийной ячейки Управления военной разведки, в котором я работал, попросил меня присутствовать на секретном заседании, на котором наш шеф, генерал Берзин, должен был делать сообщение по делу Рютина. Секретарь проинформировал меня, что не все члены ячейки приглашены на это заседание, так как дело было сугубо секретным.

Берзин зачитал нам отрывки из тайной программы Рютина, в которой Сталин был назван «величайшим провокатором, разрушителем партии», «могильщиком революции и России». Группа Рютина начала борьбу за свержение Сталина с поста главы партии и правительства.

Это был тот случай, когда Сталин предпринял попытку отказаться от ленинской политики запрещения вынесения смертных приговоров партийцам. Сталин хотел быстро

разделаться с Рютиным. Членом Политбюро, нашедшим в себе достаточно мужества не согласиться со Сталиным в этом решающем вопросе, был не кто иной, как Сергей Киров, секретарь Ленинградской парторганизации, который, как глава бывшей столицы, занимал видное положение. Кирова поддерживали Бухарин и другие, еще пользовавшиеся влиянием. На этот раз Сталин уступил: Рютину и его соратникам была сохранена жизнь (Рютин был расстрелян позднее, в январе 1937 г.).

В течение последующих четырех лет Сталину удавалось удерживать власть. Однако на протяжении этих лет в стране росли недовольство и возмущение. Сбитые с толку и озлобленные кампанией «сплошной коллективизации», крестьяне оказывали сопротивление отрядам ОГПУ с оружием в руках. В этой борьбе были опустошены целые области. Миллионы крестьян выселены со своих мест. Сотни тысяч привлечены к принудительным работам. Шум партийной пропаганды заглушали выстрелы сражающихся групп. Обнищание и голод масс были настолько велики, что их недовольство политикой Сталина дошло до рядовых членов партии.

К концу 1933 года Сталин добился проведения чистки партии. В течение двух последующих лет приблизительно миллион большевиков-оппозиционеров был выброшен из рядов партии. Но это не решило проблемы, так как эти оппозиционеры все же сохраняли большинство и пользовались симпатией масс населения. Им были необходимы лидеры, люди, за которыми были традиция и программа и которые были способны свергнуть Сталина. Такие лидеры могли быть только в среде старой гвардии большевиков— соратников Ленина, которых Сталин годами истреблял, вынуждал каяться и «признавать свои ошибки» и называть его «непререкаемым лидером». Несмотря на эти покаяния, которые стали столь частыми, что в них перестали верить, вопреки своему желанию, эти старые большевики невольно поддерживали эту новую оппозицию внутри партии, если они фактически и не руководили ею. Положение стало критическим, одних покаяний стало уже недостаточно, Сталин сознавал, что надо искать другие средства. Он должен найти способ не только подорвать авторитет старой гвардии, но и остановить активную жизнь видных членов этой грозной оппозиции.

Как нельзя более кстати оказалась кровавая чистка Гитлера— в ночь на 30 июня 1934 года. На Сталина произвело большое впечатление то, как Гитлер расправился со своей оппозицией. Он скрупулезно изучал каждое секретное донесение от наших агентов в Германии, связанное с событиями той ночи.

1 декабря 1934 года в Ленинграде при странных обстоятельствах был убит Сергей Киров. В тот же день Сталин обнародовал чрезвычайный указ, внесший изменение в уголовное законодательство. По всем делам, связанным с политическими убийствами, в течение 10 дней военный трибунал должен вынести приговор без защиты и оглашения, исполнение которого следовало немедленно. Указ лишал Председателя Верховного Совета права помилования.

Смерть Кирова, человека, который стоял на пути введения Сталиным смертной казни для членов партии большевиков, теперь открывала путь для грядущей великой чистки. Убийство Кирова стало поворотным пунктом в карьере Сталина и открыло эпоху публичных и тайных процессов над старой гвардией большевиков – эпоху «признаний». Вряд ли в истории какой-либо страны мира найдется пример, когда убийство одного из высших должностных лиц могло привести к такой резне, которая последовала за смертью Кирова.

Тайна, связанная с этим убийством, берет свое начало в октябре 1934 года, когда Леонид Николаев был арестован в Ленинграде охраной Кирова. У арестованного в портфеле был обнаружен дневник и револьвер. Когда Николаев предстал перед заместителем начальника ленинградского ОГПУ Запорожцем, его освободили. Это необычное происшествие и последовавшее за ним решение побудили Запорожца специально выехать в Москву для доклада Ягоде, возглавлявшему в то время ОГПУ.

1 декабря тот же Николаев выстрелил в Кирова и убил его. В ту же ночь Сталин сам выехал в Ленинград, чтобы принять личное участие в расследовании. Он допросил Николаева и нескольких его товарищей, комсомольцев. Ничего подобного в истории Советского Союза еще не было.

Из Москвы в Ленинград отбыл для проведения расследования начальник ОГПУ Ягода. Сталин, находясь в Ленинграде, держал его на расстоянии. Эта ночь ознаменовала начало открытого разрыва Сталина с Ягодой. Сталин всячески препятствовал тому, чтобы Ягода вел допрос Николаева и его товарищей.

В период пребывания Сталина в Ленинграде Ягода попал в аварию. Это произошло во время его поездки в автомобиле на одну из окраин Москвы, где он должен был провести допрос нескольких подозреваемых по делу Кирова. Его машину сбил грузовик. Начальник ОГПУ едва спасся от гибели. В кругах ОГПУ в Москве было тогда много разговоров об этом «несчастном случае».

Уже в самом начале расследования выяснилось, что Николаев мог совершить преступление лишь при прямом содействии начальства ленинградского ОГПУ, однако никакого серьезного следствия проведено не было.

В январе 1935 года 12 высших сотрудников ленинградского ОГПУ, включая его начальника Медведя, были арестованы и приговорены к заключению сроком от 2 до 10 лет. Медведь был приговорен к трем годам. Немногим более двух лет спустя я встретил Медведя в Москве, он был на свободе. И он, и его заместитель Запорожец были освобождены Сталиным досрочно.

На последнем из знаменитых «процессов над предателями», инсценированном в марте 1938 года, на котором Ягода фигурировал как один из главных «исповедников», впервые было упомянуто дело о первом аресте Николаева и его непонятном освобождении. Однако прокурор Вышинский прерывал Ягodu каждый раз, когда тот пытался вдаваться в эту тему. «Было совсем не так!» – восклицал Ягода несколько раз, когда Вышинский принимался зачитывать выдержки из его признания.

О роли Сталина в расследовании не было упомянуто ни единым словом. Осталось невыясненным, почему Сталина не удивило странное поведение Медведя и Запорожца, освободивших Николаева, после того как он был схвачен, имея при себе револьвер и политический дневник, о чем Сталин должен был быть осведомлен.

Дневник Николаева играл важную роль в деле Кирова. На него неоднократно ссылались в советской прессе, после того как Николаев и 16 его товарищей, все члены комсомола, были казнены. На него ссылались и по разным другим поводам. Однако ни слова из него никогда не было опубликовано. В осведомленных кругах ОГПУ дело Кирова было окутано мрачной тайной. Даже мои близкие друзья на Лубянке избегали этой темы. Однажды я напрямую поставил вопрос перед Слуцким, начальником Иностранного отдела ОГПУ. Я спросил его, были ли, по его мнению, причастны к убийству Кирова руководители ОГПУ Ленинграда.

Он ответил:

– Это дело, как вы понимаете, настолько неясное, что вообще лучше в него не вникать. Держитесь от него подальше.

Дело Кирова было таким же решающим для Сталина, как поджог рейхстага для Гитлера. Попытаться решить загадку «Кто

убил Кирова?» труднее, чем ответить на вопрос «Кто поджиг рейхстаг?». Кроме Сталина, в живых осталось не более трех-четырех человек, которые могли бы решить загадку убийства Кирова. Один из них— Ежов, который был только что смещен со своего последнего поста и, несомненно, поплатился за свою осведомленность. В конце концов Сталин, возможно, останется единственным из тех, кому были известны все факты по делу Кирова.

Одно не вызывает сомнений: убийство Кирова дало Сталину желанную возможность ввести смертную казнь для членов большевистской партии. Вместо того чтобы расследовать действительные обстоятельства убийства, Сталин превратил смерть Кирова в предлог для ареста наиболее выдающихся лидеров старой гвардии большевиков, начиная с Каменева и Зиновьева, и для вынесения смертных приговоров для членов партии. Теперь он мог начать систематическое уничтожение всех, кто, разделяя с ним идеи Ленина и традиции Октябрьской революции, поднимали знамя, под которое могли идти недовольные и даже воинственно настроенные массы.

Должен сказать, что в это время не только огромная масса крестьян, но и большинство в армии, включая лучших представителей комсостава, большинство комиссаров, 90 % директоров заводов, 90 % партийного аппарата, находились в большей или меньшей степени в оппозиции диктатуре Сталина. Это была уже сила. Следовало перетряхнуть всю структуру Советской власти. Как это сделать? Дискредитировать, запятнать, заклеить позором и расстрелять старую гвардию большевиков и провести массовые аресты их последователей. Назвать их «троцкистами, бухаринцами, зиновьевцами, саботажниками, злоумышленниками, диверсантами, немецкими, японскими, британскими агентами»— как угодно, но арестовывать как участников гигантского государственного заговора каждого стоящего в оппозиции сталинскому единовластию, которое его приверженцы именовали «линией партии». Вот что предстояло сделать, и у Сталина был теперь испытанный и проверенный метод достижения этой цели— метод показательных судов и хорошо отрепетированных покаяний. Таких судов, приводивших в удивление весь мир, было много и раньше, однако прежде большевистские лидеры никогда не участвовали в них в качестве жертв.

Западный мир так до конца и не понял, что советские показательные суды были вовсе не судами, а орудием политической войны. В информированных советских кругах с момента прихода к власти Сталина мало кто не считал

показательные процессы с их драматическими признаниями не чем иным, как политическим рычагом, не имеющим ничего общего с отправлением правосудия. Как только политическая власть большевиков сталкивалась с кризисом, они всегда находили козлов отпущения для таких процессов. Это имело такое же отношение к правосудию, как к милосердию.

Надо признать, что в Советском правительстве нашлись люди, предостерегавшие Сталина накануне инсценировки показательных процессов над старыми большевиками, что они не только произведут определенное впечатление в стране, но и могут вызвать отчуждение просоветских сил за границей. Кто-то сказал мне, что на это Сталин презрительно ответил: «Европа все проглотит!».

Сталин проводил свою чистку не так, как это сделал Гитлер 30 июня 1934 года. Гитлер стоял перед лицом организованной и бросившей вызов оппозиции, и удар его был молниеносен. У Сталина не было такой оппозиции, он столкнулся с общим глубочайшим недовольством, и его задача заключалась в том, чтобы пресечь действия потенциальных лидеров какого-либо движения, не допустить их к власти. Поэтому Сталин выжидал, продвигаясь к своей цели шаг за шагом.

Сталин не доверял старому ОГПУ. Он не доверял и старому руководству Красной Армии. С помощью Ежова, который освободился от опеки ЦК, Сталин создал свой собственный аппарат ОГПУ, некий высший террористический орган. Когда Ежов наконец получил от Сталина приказ возглавить все охранительные силы страны, он привлек к этому вновь укомплектованный штат. Все старые кадры, возглавлявшие ОГПУ, за исключением одного человека, были расстреляны Ежовым.

Исключение составлял особый любимец Сталина – Михаил Фриновский, командующий специальными войсками ОГПУ. Это военизированное подразделение, не находящееся в ведении Красной Армии, было той военной силой, на которую опирался Сталин, действуя против старых большевиков. Он не начинал борьбу против старой гвардии, пока не закончил с помощью Ежова и Фриновского подготовку этих двух необходимых опор своего наступления. После убийства Кирова Сталиным и принятия нового закона о государственной измене был развязан мощный террор, служивший подготовкой к великой чистке большевистской партии. Сотни политических заключенных были осуждены по делу об убийстве Кирова, включая Николаева и его сообщников, которые подверглись тайному судилищу. Тысячи комсомольцев были высланы и отправлены в лагерь.

Террор, учиненный Сталиным после убийства Кирова, не помешал ему вновь и вновь использовать этот предлог для расправы над старой гвардией. Было казнено общим счетом около двухсот человек, обвиненных по делу об убийстве Кирова. Это дело фигурировало в ходе трех показательных «судов по обвинению в государственной измене», первый из которых открылся в августе 1936 года. О том, что эти суды не имели ничего общего с нормальным судопроизводством, говорит тот факт, что на них не были представлены материалы секретного суда над убийцами Кирова.

По этой же причине большевистские лидеры на всех трех «процессах о государственной измене» отказались от права на защиту. Потому и для Сталина не имело значения, что признания часто вступали в противоречия с известными фактами. Например, некоторые из тех, кто сознались в участии в заговоре с целью убийства Кирова, находились в одиночном заключении на протяжении нескольких лет, предшествовавших убийству.

Каким образом были получены эти признания? Ничто в такой степени не озадачивало Запад, как этот вопрос. Ошеломленный мир наблюдал, как создатели Советского государства бичевали себя за преступления, которые не могли совершить и которые были очевидной, фантастической ложью. Вопрос, почему они каялись, все еще интригует западный мир. Однако этот факт никогда не был загадкой для тех из нас, кто работал внутри аппарата Сталина.

Хотя факторов, повлиявших на то, что эти люди выступили на суде со своими признаниями, было несколько, главное, что заставило их каяться, была искренняя убежденность, что этим они оказывают последнюю возможную для них услугу партии и революции. Они принесли в жертву и свою честь, и свою жизнь ради защиты ненавистного им режима Сталина, потому что он давал им слабую надежду, что светлое будущее, которому они посвятили свою молодость, все же наступит. Сталин продолжал использовать в своем лексиконе магические слова: «социалистический», «пролетарский», «революционный» — и верилось, что каким-то чудом социализм все же может родиться из чрева этой чудовищной и кровавой тирании.

Если кому-либо покажется удивительным, как эти идеалистически настроенные люди, которые противились своему вождю и его политике, могли дойти до такого состояния, то это лишь потому, что никто не представляет себе, до чего может дойти человек, попавший в руки «следователя» ОГПУ.

В мае 1937 года, в разгар великой чистки, мне представилась возможность поговорить с одним из следователей ОГПУ–Кедровым, в то время занимавшимся выбиванием признаний. Разговор шел о методах нацистской полиции. Вскоре он перекинулся на судьбу лауреата Нобелевской премии мира, прославленного немецкого пацифиста Карла фон Осецкого, в то время узника гитлеровской тюрьмы, погибшего в 1938 году.

Кедров говорил тоном, не терпящим возражения: «Осецкий мог быть хорошим человеком до ареста, однако, побывав в руках гестапо, он стал их агентом».

Я попытался возразить Кедрову и пробовал объяснить ему величие характера и достоинства человека, о котором шла речь.

Кедров отметал все мои аргументы:

– Вы не знаете, что можно сделать из человека, когда он у вас в кулаке. Здесь мы имеем дело со всякими, даже с самыми бесстрашными. Однако мы ломаем их и делаем из них то, что хотим!

Несмотря на ужасные формы давления, оказываемого ОГПУ на политических противников Сталина, удивление вызывает то, что сознавались немногие. На каждого из 54 заключенных, фигурировавших в трех «делах о государственной измене», было, как минимум, сто человек, расстрелянных без признаний.

Всего Сталиным было уничтожено шесть группировок главных большевистских лидеров. Лишь три из этих группировок можно причислить к разоблачившим себя на показательных процессах. Три другие группы подверглись судилищу на «закрытых процессах» в соответствии с официальными сообщениями, в которых не было сказано ни слова о предъявленном обвинении или о каких-либо судебных протоколах.

Можно назвать четыре фактора, способствовавших тому, что эти старые большевики дошли до такой степени ужаса и отчаяния, что поддались убеждениям, будто ложные признания – это их долг. И все эти факторы, по-видимому, сказались на каждой жертве по-разному.

Первый по важности фактор– это действующая и ОГПУ машина физических и моральных пыток, противостоять которой у них не было сил. Эта «третья степень» была известна у нас как «конвейерная система» допроса заключенных. Она предусматривала пропускание жертвы через цепочку следователей, начиная с неотесанных новичков и до квалифицированных мастеров искусства исторжения признаний.

Вторым элементом системы фабрикации признаний служило сталинское секретное досье. Там были собраны донесения его

личной шпионской сети, касающиеся политической деятельности и личной жизни всех лидеров за многие годы. Это досье превратилось в арсенал порочащих данных, направленных против всех потенциальных противников сталинского правления.

Третьим элементом, участвовавшим в подготовке показательных судов, была разновидность обычного шантажа. Провокаторов, якобы признавших в участии в мнимых заговорах, помещали в камеры, где они играли омерзительную роль, впутывая своих наиболее выдающихся «подельников» в эти заговоры. Они играли роль изобличающих «свидетелей» или «соучастников», давая понять главным действующим лицам, намеченным Сталиным, что любая попытка оправдаться безнадежна.

Четвертым, однако не менее важным, элементом в фабрикации признаний были сделки, заключенные между Сталиным и некоторыми особо важными заключенными. На Западе может вызывать удивление тот факт, что между Генеральным прокурором и его заключенными совершаются подобные сделки. Принадлежа к информированным партийным кругам, мы воспринимали такие договоренности как обычное дело, зная, что семьи, друзья и даже менее заметные политические сторонники жертвы будут помилованы, если она сознается и тем самым поможет вовлечь в дело ключевые фигуры и облегчит проведение общей чистки.

* * *

В течение ряда лет Сталин сокращал число своих потенциальных соперников, доводя положение до отчаянного путем шпионажа высокого класса, проникавшего в высшие круги ОГПУ и Генеральный штаб Красной Армии.

Шпионы Сталина следили за всеми. Так, более чем за 5 лет до арестов и казней высших чинов Красной Армии и до возвышения Гитлера один из «людей» Сталина неожиданно появился в Наркомате обороны, чтобы возглавить Управление разведки. В его миссию входил прежде всего шпионаж за наркомом по военным и морским делам Ворошиловым. На протяжении нескольких месяцев он ежедневно вскрывал почту Ворошилова, члена Политбюро, и делал подборку материалов для Сталина и для пополнения его личного досье.

Агенты секретного досье Сталина шпионили за бывшими лидерами оппозиции, независимо от того, находились они в тюрьме или на службе, собирая «факты» на всякий случай. Целая

разветвленная сеть доносчиков постоянно следила за всей старой гвардией большевиков. Чтобы состряпать дело, было достаточно неосторожного замечания.

Я осознал губительные последствия этой слежки в связи с делом Алексея Рыкова, одной из центральных фигур на третьем показательном процессе в марте 1938 года. Я видел его при обстоятельствах, которые позволяли догадаться о том, какая судьба его вскоре постигнет. Я отдыхал в Кисловодске, в санатории им. Десятилетия Октября, в котором обычно отдыхают высшие партийные и государственные руководители. Там в отдельном коттедже отдыхал и Рыков с женой.

Преемник Ленина на посту Председателя Совета Народных Комиссаров, Рыков был одним из основателей партии большевиков и одним из тех, кто совершил социалистическую революцию. При Ленине и Троцком Рыков возглавлял ВСНХ. Будучи противником сталинского рывка в коллективизации, он был понижен в должности. Однако когда я познакомился с ним, он еще оставался членом правительства и занимал пост наркома связи. Что более важно, официально он еще числился членом ЦК.

Я часто видел Рыкова на прогулках. Если он не был с женой, то гулял один. Я никогда не встречал рядом с ним кого-нибудь из деятелей партии и правительства. Часто перед ваннами в нашей санатории выстраивалась очередь. Обычно люди помоложе уступали свою очередь более старшим товарищам. Для Рыкова этого никогда не делалось, хотя номинально он был рангом выше всех отдохавших в Кисловодске в то время. Все старались держаться от него подальше. В осведомленных кругах партии Рыков был уже политическим покойником.

Наступила годовщина Октября. В тот вечер в зале санатория было организовано празднование. Произносились речи, восхвалявшие Сталина как «отца народов», «гения из гениев рабочих мира». Было много выпивки. К полночи атмосфера стала вполне праздничной.

Вдруг один из товарищей за моим столиком с презрением воскликнул:

– Смотрите, Рыков!

Как всегда небрежно одетый, вошел Рыков, на его красивом лице была вымученная улыбка. Его одежда была поношенной, галстук завязан неровно, волосы растрепаны, большие темные глаза смотрели на веселую толпу как бы сквозь туман. Будто внезапно возникло привидение. Это была тень героического периода революции, тень человека, боровшегося вместе с Лениным и Троцким и одержавшего победу, которая отмечалась в этом зале.

Насмешку моего соседа тут же подхватили другие. Бюрократы громко обменивались издевательскими замечаниями о Рыкове. Никто не предложил ему сесть. Организатор праздника метался от одного столика к другому, не обращая на Рыкова ни малейшего внимания. Через некоторое время несколько стопроцентных сталинистов подошли к нему и начали насмехаться. Одним из них был секретарь парторганизации Донецкого угольного бассейна. Он хвастался Рыкову показателями добычи угля в своем регионе:

– Мы делаем большие дела, мы строим социализм. Долго вы и вам подобные будут продолжать будоражить партию?

Рыков не нашелся что ответить на эту стереотипную фразу, часто произносимую в Кремле. Он сказал что-то уклончивое и попытался переменить тему. Было ясно, что ему хотелось найти какое-то взаимопонимание с собравшимися. Я присоединился к небольшой группе около него. В зале было немало таких, кто хотел бы поговорить с Рыковым, но не отваживался. Их сразу же взяли бы на заметку как оппозиционеров.

Рыкову, прислонившемуся к стене, не предложили ни стула, ни бокала. Он ушел, как и пришел, в одиночестве и продолжал оставаться в тени в течение ряда лет, пока Сталину не потребовалась его жизнь. Тогда он оказался в центре внимания, сделав «признание», невероятность которого была очевидна.

* * *

Весной 1936 года, за пять месяцев до начала «процессов по делу о государственной измене», в осведомленных кругах Москвы уже знали, что готовится большой спектакль. Мы знали, что такой спектакль не пройдет без покаяний. Метод пыток, метод подтасовки фактов с помощью самодельных лжесвидетелей и метод переговоров между Кремлем и жертвами использовались одновременно для получения быстрых результатов.

Я могу говорить о физических пытках лишь настолько, насколько я узнал о них из первых рук. Я знал одного заключенного, которого заставляли стоять на протяжении всех дознаний с различными перерывами на протяжении 55 часов под слепящим светом ламп. Возможно, это была самая простая разновидность «третьей степени».

У меня была возможность обсудить слухи, ходившие недавно за рубежом, об изодранных, тайно использовавшихся для получения признаний формах пыток с одним из высших чинов ОГПУ.

Отказавшись подтвердить эти слухи как фантастические, он заметил:

– Разве вы не признаетесь, если простоите на одной ноге десять часов подряд?

Этот метод применялся к Бела Куну, главе недолговечной Венгерской Советской республики, который искал политического убежища в России и стал одним из лидеров Коминтерна. Этот всемирно известный революционер был арестован по приказу Сталина в мае 1937 года как «шпион гестапо».

Бела Кун был помещен в Бутырскую тюрьму в Москве, так как на Лубянке не было места. Он находился в камере со 140 другими заключенными, среди которых были такие выдающиеся деятели, как Маклевич, командующий морскими силами Советского Союза. Бела Куна брали на допрос и держали дольше других заключенных. Он должен был выстаивать на ногах по 10–20 часов, пока не падал в обморок. Когда его приводили обратно в камеру, ноги его были настолько опухшими, что он не мог стоять. После каждого допроса состояние его ухудшалось. Охранники обращались с ним с особой жестокостью.

Сама камера была камерой пыток. В ней стояло два ряда нар, один над другим, на которых лежали или спали заключенные. Было настолько тесно, что невозможно было вытянуть ноги; всем приходилось спать на боку, поджав ноги, прижавшись друг к другу. В противном случае заключенные не смогли бы разместиться. Староста камеры должен был отдавать команды сразу всем заключенным изменить положение, когда кто-либо хотел встать или перевернуться. Места для ходьбы в камере не было.

Бела Кун не сознался. Не сознался и Маклевич. Так же поступил и Кнорин, бывший член ЦК партии, хотя его заставляли непрерывно выстаивать на протяжении 24 часов.

Эта форма пытки входила в первую стадию «конвейерной системы» допроса. За это отвечали молодые рядовые следователи, «сотрудники» Ежова.

Они начинали допрос с грубого приказа заключенному после того, как было велено стоять под светом ламп:

– Признайся, что ты шпион!

– Мне не в чем признаваться.

– Но у нас есть доказательства. Признайся, ты, такой-сякой!

За этим следовал поток брани, злобных нападок и угроз. Когда заключенный продолжал упорствовать, следователь ложился на диван и оставлял заключенного стоять часами. Когда следователю нужно было уйти, за заключенным смотрел охранник, который следил, чтобы тот не сел, не прислонился к

стене или стулу.

Когда с помощью такого наказания жертву не удавалось сломить, дело передавалось более искусному следователю. Здесь не было игры с заряженным оружием, не было оскорблений, света, физического давления. Совсем наоборот. Делалось все, чтобы заставить заключенного поверить, что первая стадия была ошибкой, неудачным экспериментом. Атмосфера раскованности, неофициальности использовалась для того, чтобы вынудить заключенного сознаться. Допрос Мрачковского был типичным для этой стадии «конвейерной системы третьей степени».

Мрачковский состоял членом партии большевиков с 1905 года. Он был сыном революционера, сосланного царским правительством в Сибирь. Его самого много раз арестовывала царская полиция. Во время Гражданской войны, после победы социалистической революции, Мрачковский создал на Урале отряд добровольцев, известный своими подвигами при разгроме армии Колчака. Он был выдающимся национальным героем в ленинский период.

Пришел июнь 1936 года. Подготовка к первому показательному суду была завершена. Получены признания 14 заключенных. Основные герои – Зиновьев и Каменев – отрепетировали свои роли. Однако в этой группе намеченных жертв были двое, которые не сознались: Мрачковский и его соратник Иван Смирнов, один из основателей партии большевиков, командующий 5-й армией во время Гражданской войны.

Сталин не хотел начинать процесс без этих двоих. Они месяцами подвергались допросам; они были приговорены ко всем физическим трехэтапным методам ОГПУ. Однако отказались подписать признания. Начальник ОГПУ неожиданно попросил моего коллегу Слуцкого провести допрос Мрачковского и «сломить» человека, к которому Слуцкий питал глубокое уважение.

Мы оба плакали, когда Слуцкий рассказывал мне о своем опыте в качестве инквизитора. Я передам рассказ Слуцкого, насколько он запомнился мне.

Когда я начал допрос, я был чисто выбрит. Когда я закончил его, у меня выросла борода, – рассказывал Слуцкий. – Допрос продолжался 90 часов. Каждые 2 часа раздавался звонок из кабинета Сталина. Его секретарь спрашивал: «Ну как, удалось вам уломать его?»

– Вы хотите сказать, что не покидали кабинет все это время? – спросил я.

Нет, после первых 10 часов я вышел ненадолго, но мое место

занял мой секретарь. В течение 90-часового допроса Мрачковского не оставляли одного ни на минуту. Его сопровождал охранник, даже когда он ходил в уборную... Когда он в первый раз вошел в мой кабинет, он хромал, давало себя знать ранение ноги, полученное им в Гражданскую войну. Я предложил ему стул. Он сел. Я начал допрос словами: «Видите ли, товарищ Мрачковский, я получил приказ допросить вас». Мрачковский ответил: «Мне нечего сказать. Вообще мне не хочется вступать с вами в какие-либо разговоры. Вы и вам подобные хуже любого царского жандарма. Скажите мне, какое право вы имеете допрашивать меня? Где вы были во время революции? Я что-то не припомню, чтобы когда-либо слышал о вас в дни революционной борьбы». Мрачковский заметил два ордена Красного Знамени на груди у Слуцкого и продолжал:

– Таких я на фронте никогда не встречал, что же до орденов, то вы, должно быть, украли их.

Слуцкий молчал, он дал своему заключенному возможность излить желчь.

Мрачковский продолжал:

– Вы обратились ко мне со словом «товарищ». Только вчера меня допрашивал другой из ваших людей. Он называл меня подлецом и контрреволюционером. А я родился в царской тюрьме. Мои отец и мать умерли в Сибири. Я вступил в партию почти ребенком.

Здесь Мрачковский поднялся и одним быстрым движением распахнул рубаху, обнажив шрамы от ран, полученных в сражениях за Советскую власть.

– Вот мои ордена! – воскликнул он.

Слуцкий продолжал молчать. Он попросил принести чай и предложил заключенному стакан чаю и сигареты. Мрачковский схватил стакан и пепельницу, бросил на пол и закричал:

– Хотите меня купить? Можете передать Сталину, что я ненавижу его. Он – предатель. Они приводили меня к Молотову, который тоже хотел подкупить меня. Я плюнул ему в лицо...

* * *

Наконец Слуцкий заговорил:

– Нет, товарищ Мрачковский, я не крал своих орденов Красного Знамени. Я получил их в Красной Армии, на Ташкентском фронте, где сражался под вашим командованием. Я никогда не считал вас подлецом, да и сейчас не считаю. Однако вы находились в оппозиции и боролись против партии?

Несомненно. А теперь партия дала мне приказ допросить вас. А что касается ран, посмотрите!

И Слуцкий оголил часть тела, показывая свои боевые шрамы.

– Они тоже с Гражданской войны, – добавил он.

Мрачковский внимательно слушал, а затем сказал:

– Я не верю вам. Докажите мне.

Слуцкий велел принести свою официальную автобиографию из архива ОГПУ. Дал ее прочесть Мрачковскому. Затем он сказал:

– Я состоял в ревтрибунале после Гражданской войны. Позже партия направила меня в ОГПУ. Я лишь выполняю приказы. Если партия прикажет мне умереть, я пойду на смерть.

Слуцкий сделал это полтора года спустя, когда было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством.

– Нет, вы переродились в полицейскую ищейку, в агента охраны, – сказал Мрачковский, затем помедлил и продолжал: – И все же, очевидно, из вас еще не вытравили всю душу.

Впервые Слуцкий почувствовал, что между ним и Мрачковским зародилась искра взаимопонимания. Он начал говорить о внутренней и международной обстановке, о Советском правительстве, об угрозе извне и изнутри, о необходимости спасти партию любой ценой как о единственном пути продолжения революции.

– Я сказал ему, – рассказывал Слуцкий, – что лично я убежден, что он, Мрачковский, не контрреволюционер. Я достал из стола признания заключенных товарищей и показал ему доказательства того, как низко они пали, находясь в оппозиции советской системе... На протяжении полных трех дней и ночей мы разговаривали и спорили. Все это время Мрачковский ни на минуту не заснул. Мне удалось урвать около 3–4 часов сна за все время, пока мы с ним боролись.

Мрачковский рассказал Слуцкому, что его два раза увозили из тюрьмы к Сталину. В первый раз, когда его привезли в Кремль, он встретил Молотова в приемной Сталина. Тот дал Мрачковскому совет:

– Вы сейчас встретитесь с ним. Будьте с ним откровенны, дорогой Сергей, не скрывайте ничего. Иначе дело кончится расстрелом.

Сталин продержал Мрачковского большую часть ночи, добиваясь от своего узника, чтобы он отрекся от всех оппозиционных взглядов. Сталин говорил, что партия наполнена элементами, угрожающими делу большевизма. Всем партийным руководителям необходимо показать стране, путем признаний, что есть лишь один путь – путь Сталина. Мрачковский не поддался и возвратился в камеру.

Во второй раз, когда Мрачковский был вызван в Кремль, Сталин давал ему различные обещания, если Мрачковский будет придерживаться сталинской линии.

– Если вы будете полностью сотрудничать, – пообещал Сталин, – то я пошлю вас на Урал возглавлять там промышленность. Вы станете директором. Вы еще будете делать большие дела.

Мрачковский вновь отказался принять предложение Сталина. Именно тогда Слуцкому дано было задание сломить его. Дни и ночи проходили в спорах о том, что никто, кроме Сталина, не мог руководить большевистской партией. А Мрачковский твердо верил в однопартийную систему правления. Все же ему пришлось признать, что достаточно сильной партийной группировки, способной изменить партийный аппарат изнутри или сбросить руководство Сталина, не было. Несомненно, в стране наблюдалось глубокое недовольство, однако преодолеть его вне рядов партии означало бы покончить с системой, которой Мрачковский оставался верен.

И следовательно, и заключенный согласился, что все большевики должны подчинить свою волю и свои дела воле и идеям партии. Они согласились, что необходимо остаться в партии, даже если Сталин потребует ложных признаний с целью упрочения Советской власти.

– Я довел его до того, что он начал рыдать, – говорил мне Слуцкий. – Я рыдал с ним, когда мы пришли к выводу о том, что все потеряно, что единственное, что можно было сделать, это предпринять отчаянное усилие предупредить тщетную борьбу недовольных «признаниями ми» лидеров оппозиции.

Мрачковский попросил, чтобы ему разрешили свидание с Иваном Смирновым, его близким соратником. Слуцкий распорядился привести Смирнова из камеры, и встреча двух товарищей прошла в его кабинете. Предоставим Слуцкому описать ее:

– Это была болезненная сцена. Два героя революции обнялись. Они плакали. Мрачковский сказал Смирнову: «Иван Никитич, дадим им то, чего они хотят. Это надо сделать». Смирнов не согласился и ответил: «Мне не в чем признаваться. Я никогда не боролся против Советской власти. Я никогда не боролся против партии. Я никогда не был террористом, и у меня никогда не было намерения убивать кого-либо».

Мрачковский пытался убедить Смирнова, однако тот не сдавался. Все это время они держали друг друга в объятиях и рыдали. Наконец Смирнова увели.

– Мрачковский опять стал неподатливым и раздраженным, –

продолжал Слуцкий. – Он стал вновь называть Сталина предателем. Однако к концу четвертого дня он подписал полное признание, сделанное им в ходе разбирательства. Я пошел домой. Целую неделю я не мог работать, чувствовал, что не могу дальше жить.

Остается добавить, что после того, как Мрачковский обратился со своим признанием в ОГПУ, Иван Смирнов, последовавший совету своего товарища, был сломлен. Все же Смирнов на первом публичном разбирательстве сделал несколько попыток отречься от своих признаний, однако прокурор всякий раз пресекал эти попытки.

* * *

Даже спустя месяцы, а иногда и годы травли и пыток у заключенных все же добывались такие признания, которые можно было получить только путем сделки с самим Сталиным.

Я знаю, что Каменев и Зиновьев, ближайшие соратники Ленина, имели встречи со Сталиным за несколько месяцев до того, как началось разбирательство. Зиновьев подчинился требованию Сталина. Как позднее рассказывал об этом член его семьи, Зиновьев руководствовался двумя мотивами, согласившись на признание: «Прежде всего, невозможно было выскользнуть из железных тисков Сталина. Во-вторых, он надеялся спасти свою семью от преследований».

Каменев также опасался репрессий в отношении жены и троих детей, о чем свидетельствовало его заявление на суде. У Сталина существовала установленная практика наказания семьи человека, обвиняемого в политическом преступлении.

В марте 1937 года трое из тех, кто будет фигурировать год спустя на третьем (и последнем) показательном процессе, сыграли неожиданно роли на заседании в Кремле. Это было на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б), насчитывавшем 70 участников. Чистка уже достигла своего апогея. Страна была деморализована. Никто не знал, о чем думал Сталин.

70 высших партийных руководителей, объятые страхом и подозрениями, собрались в Большом зале Кремлевского дворца. Они были готовы по приказу Сталина обрушиться с нападка друг на друга, чтобы продемонстрировать Хозяину свою лояльность.

На этом историческом заседании тремя действующими лицами были Ягода, Бухарин и Рыков. Бывший начальник ОГПУ Ягода приветствовал «карающий меч революции», пока он был

еще на свободе. Он сменил Рыкова на посту наркома связи. Однако и сам Ягода, и все остальные знали, что он обречен.

Сталин изложил политическую линию на будущее. Чистка не выполнила еще своей задачи. Требовалось дальнейшее искоренение раскола и предательства. Нужны новые процессы. Новые жертвы. Те, кто понимал задачу момента, могут рассчитывать на поощрение.

Страх и коварство были написаны на лицах 70 человек. Кто среди них победит в схватке за благосклонность Хозяина, в схватке за собственную жизнь?

Ягода молча слушал. Многие глядели на него с ненавистью. Обстановку накаляли злобные взгляды прищуренных глаз, которые бросал на него Сталин. Вскоре зал обрушил на него водопад обвинений и вопросов. Почему он пригласил троцкистских гадов? Почему брал на службу предателей? Один оратор превосходил другого в бичевании политического труп а Ягоды. Все хотели быть услышанными Сталиным, чтобы убедить его в своей преданности.

Внезапно Ягода, храня ледяное спокойствие, повернул голову. Он тихо произнес несколько слов, как бы про себя: «Как жаль, что я не арестовал всех вас раньше, когда был у власти».

Это было все, что сказал Ягода. Ураган брани пронесся по залу. Семьдесят ревущих главарей партии прекрасно сознавали, что Ягода смог бы выбить из них признания, арестуй он их полгода назад. Но Ягода не менял выражения лица.

В зал ввели двух заключенных. Один из них был Николай Бухарин, бывший Председатель Коминтерна. Другой – Алексей Рыков, преемник Ленина на посту главы Советского правительства. Плохо одетые, бледные и изнуренные, они заняли свои места среди холеных приверженцев Сталина, которые в замешательстве отодвинулись от них.

Сталин инсценировал это появление перед ЦК, чтобы доказать свое «демократичное» обращение с этими двумя великими личностями советской истории, основателями партии большевиков. Но теперь ЦК уже окончательно стал оружием Сталина. Бухарин встал, чтобы говорить. Срывающимся голосом он уверял своих товарищей, что никогда не принимал участия в каком-либо заговоре против Сталина или Советского правительства. Решительно отверг он само подозрение в такой поступке. Он рыдал, он просил. Было ясно, что он и Рыков надеялись зажечь искру прежнего товарищества в членах ЦК партии, созданию которой они способствовали. Но товарищи благоразумно молчали. Они предпочитали дожидаться сталинского слова.

И Сталин заговорил, прерывая Бухарина.

– Так революционеры себя не защищают! – воскликнул он. – Вы должны доказать свою невиновность в тюремной камере.

Сборище разразилось дикими выкриками:

– Расстрелять его! Назад, в тюрьму его!

Сталина осыпали овациями, когда Бухарина и Рыкова уводили обратно в тюрьму.

Двое заключенных явно недооценили ситуацию. По мысли Сталина, здесь им предоставили возможность продемонстрировать свою лояльность по отношению к партии, признав свои прошлые ошибки и воздав хвалу ее руководству. Вместо этого они обратились через его голову к собранию, оправдываясь перед своими бывшими товарищами, которые превратились в марионеток Сталина.

* * *

Накануне первого процесса по делу Каменева – Зиновьева Сталин обнародовал декрет, восстанавливающий право главы Советского государства на помилование и смягчение наказания. Этот декрет был составлен для того, чтобы убедить 16 человек, которые должны были вот-вот сделать свои публичные признания, что их ожидает помилование, и все же в ходе расследования один за другим заключенные заявляли: «Не в моих правилах просить пощады; я не прошу смягчения наказания для меня; я не считаю возможным просить о снисхождении».

Ранним утром 24 августа 1936 года 16 человек были приговорены к расстрелу. Они немедленно подали прошение о помиловании. Вечером того же дня Советское правительство объявило, что оно «отклонило апелляцию о помиловании со стороны осужденных» и что «приговор приведен в исполнение». Было ли заключено соглашение между ними и Сталиным, которое он не выполнил? Более вероятно, что они ни на что не рассчитывали, но питали все же какую-то слабую надежду.

На втором показательном процессе по делу Радека – Пятакова – Сокольникова, который вскоре последовал за первым, Сталин действовал так, чтобы получить больше признаний, которых хватило бы на организацию большего числа процессов. Четверым из 17 обвиняемых этой группы были вынесены более мягкие приговоры. Двое из них были известными деятелями: Радек и Сокольников. Остальные двое были агентами ОГПУ, подготовленными в качестве «свидетелей» для дачи ложных показаний.

Между вторым и третьим процессами прошел целый год. В июне 1937 года восемь наиболее выдающихся генералов Красной Армии во главе с Тухачевским были, как уже говорилось, осуждены без признаний якобы в результате закрытого расследования. 9 июля 1937 года в Тифлисе, столице Грузии – родины Сталина, после так называемого закрытого процесса были казнены семь выдающихся кавказских большевиков во главе с бывшим соратником Сталина по революционной борьбе Буду Мдивани. 19 декабря 1937 года восемь выдающихся большевистских деятелей, возглавляемых Енукидзе – наставником Сталина в молодости, занимавшим высокие посты в Советском правительстве на протяжении 18 лет, были осуждены без признаний и казнены после третьего закрытого процесса.

Последний «процесс по обвинению в государственной измене» после дела Бухарина – Рыкова – Ягоды был инсценирован в марте 1938 года, и по нему проходил 21 человек. На то, чтобы склонить их к признаниям, потребовался целый год. Троице из этой группы приговоры были смягчены. Обвинения в этом показательном процессе были самыми различными – от заговора с целью убийства Кирова и отравления Максима Горького до шпионажа в пользу Гитлера. Самобичевание обвиняемых достигло невиданных доселе масштабов.

Мир был сбит с толку тем, с каким жаром обвиняемые и обвинители соревновались между собой, подтверждая их вину. На каждом процессе шло соревнование между подсудимыми за право признать себя виновным в совершении большего количества грехов и преступлений. С каждым последующим процессом это явное безумие нарастало.

Многие воображают, что обвиняемые пытались с помощью фантастических крайностей, на которые они шли, попасть в ту небольшую группу, которая получит снисхождение Сталина. Может быть, когда кто-то из них превосходил несравненного прокурора Вышинского в притворстве, у него возникала эта слабая надежда. Однако я сомневаюсь в этом, так как все они знали Сталина. Все они помнили его презрительные слова, обращенные к старому товарищу Бухарину на том роковом заседании в Кремле: «Революционеры так себя не защищают».

Как старый член партии большевиков, я предпочитаю верить в нечто другое. Я предполагаю, что, сдавшись после пыток, они все же надеялись, что сама одержимость, с которой они делали свои фантастические признания, даст понять, что и эти признания, и сами показательные процессы – акции политического характера. Я полагаю, они хотели, чтобы история знала, что до самого смертного часа они все еще участвовали в

политической борьбе, что они «признавались» в преступлениях против партии в последней отчаянной попытке служить ей, чтобы избавиться ее в конечном счете от Сталина.

Американцы, с которыми я поделился этой догадкой, сказали, что уму американца это непостижимо. Однако я твердо уверен, что это было так, ибо знаю, что такое большевистский характер, знаю преданность старых большевиков делу, знаю и то, что они прекрасно понимали, что собой представляет Сталин...

**А. Орлов «МОСКОВСКИЕ
ПРОЦЕССЫ». ЛИКВИДАЦИЯ ЯГОДЫ
(Из книги Александра Орлова
«Тайная история сталинских
преступлений»)**

МАШИНА СТАЛИНСКОЙ ИНКВИЗИЦИИ

...В начале 1936 года начальник Секретного политического управления НКВД Молчанов собрал около сорока видных сотрудников «органов» на специальное совещание. Среди собравшихся были начальники наиболее важных управлений НКВД и их заместители.

Молчанов сообщил им о раскрытии гигантского заговора, во главе которого стояли Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие бывшие руководители оппозиции. Организация заговорщиков, тайно действовавшая в течение нескольких лет, создала террористические группы почти во всех крупных городах. Она поставила целью убить Сталина и вообще членов Политбюро и захватить власть в стране. Кратко обрисовав особенности и масштабы раскрытого заговора, Молчанов информировал присутствующих, что по приказу народного комиссара внутренних дел Ягоды все они, кроме начальников управлений и их заместителей, освобождаются от текущих обязанностей и поступают в распоряжение Секретного политического управления НКВД для проведения следствия. Он подчеркнул, что Сталин лично будет наблюдать за ходом расследования, а помогать ему в этом будет секретарь ЦК Ежов. Итак, партия доверила органам НКВД исключительно ответственное задание, и по ходу работы следователи должны будут проявить себя не только как чекисты, но и как члены партии.

Молчанов недвусмысленно дал понять собравшимся, что Сталин и Политбюро считают обвинения, выдвинутые против руководителей заговора, абсолютно достоверными и, таким образом, задачей каждого из следователей является получение от обвиняемых полного признания. Возможным попыткам заговорщиков настаивать на своем алиби не стоит придавать значения: известны случаи, когда некоторые из них пытались давать указания террористическим группам, уже находясь в тюрьме.

Молчанов сформировал из присутствующих несколько следственных групп, выяснил с ними технические детали предстоящего следствия и порядок координации всей работы. В заключение он процитировал им секретный циркуляр за подписью народного комиссара внутренних дел Ягоды, в котором Ягода предупреждал следственные органы о недопустимости применения к обвиняемым любых незаконных методов следствия

– таких, как угрозы, обещания или запугивание.

Все услышанное поразило участников совещания. Посыпались вопросы: как же могло случиться, что такой гигантский заговор был раскрыт без их непосредственного участия? Ведь вся оперативная деятельность НКВД и вся сеть тайных информаторов, доносивших о каждом шаге участников оппозиции, были сосредоточены в их руках. А их даже не укоряют за то, что они проглядели гигантскую организацию заговорщиков, – как же так? Разве не их прямым делом является раскрытие заговоров – а тут выясняется, что этот заговор существует уже несколько лет...

Схема предстоящего судебного процесса и его подготовки были детально разработаны Сталиным и Ежовым. Практическое исполнение операции, запланированное ими, было возложено на народного комиссара внутренних дел Ягоду.

Согласно сталинскому плану, следовало доставить в Москву из ссылки и различных тюрем около трехсот бывших участников оппозиции, имена которых были широко известны, подвергнуть их «обработке», в результате которой примерно пятая часть узников окажется сломленной, и набрать таким образом группу из пятидесяти или шестидесяти человек, сознавшихся, что они участвовали в заговоре, возглавляемом Зиновьевым, Каменевым и Троцким. Затем, используя эти показания, организаторы судебного процесса смогут направить его острие против Зиновьева и Каменева и методами угроз, обещаний и прочих приемов из арсенала следствия заставить самих этих деятелей признать, что они возглавляли заговор против Сталина и Советского правительства.

Чтобы ускорить осуществление сталинского плана, было решено посадить в камеры к обвиняемым несколько тайных агентов НКВД, которые и на предварительном следствии, и перед судом изображали бы участников заговора и выдавали Зиновьева и Каменева за своих предводителей.

* * *

Из дальних тюрем и лагерей в Москву ежедневно доставлялись все новые участники оппозиции, но они упорно отказывались признать, что готовили террористические акты. К тому же у большинства из них было железное алиби – ведь уже несколько лет они находились в тюрьмах, лагерях или в ссылке, в отдаленных частях страны. Молчанов поторапливал следователей; их самолюбие страдало оттого, что нужных

начальству результатов не получалось, и они падали с ног от усталости. Наконец, осознав безнадежность ситуации, на очередном совещании у Молчанова они высказали свои претензии: они не располагают надежными средствами, чтобы «загнать подследственных в угол» и выжать из них признания. Циркуляр Ягоды, запрещающий применять угрозы и посулы, фактически разоружает их в борьбе с подследственными.

Молчанов разыграл крайнее изумление. Он просто не может поверить, чтоб они, опытные чекисты, с таким многолетним стажем работы в «органах», так уж буквально понимали циркуляр народного комиссара!

– Чекист должен быть не только хорошим следователем, но и грамотным политиком, – многозначительно заявил Молчанов. – Он должен уметь рассудить, что имеет к нему отношение, а что не имеет, что написано для него, а что – просто из соображений высшей политики.

– Но как же это различить? – спросил один из следователей. – Циркуляр подписан самим наркомом и предназначен именно для нас!

– Теперь вы знаете, как! – отрезал Молчанов. – Я вам говорю это официально, от имени наркома: идите к своим подследственным и задайте им жару! Навалитесь на них и не слезайте с них до тех пор, пока они не станут сознаваться!

Каждый из присутствующих знал, кому принадлежит эта циничная фраза. Ее еще в 1931 году употребил Сталин, когда тогдашний начальник Экономического управления НКВД Прокофьев докладывал ему о деле арестованных меньшевиков Суханова, Громана, Шера и других. Недовольный тем, что Прокофьеву не удастся заставить их сознаться, будто они вели переговоры с генеральными штабами иностранных государств, Сталин заявил ему: «Навалитесь на них и не слезайте, пока они не начнут сознаваться».

Отныне следователи всеми силами старались наверстать упущенное. Тем не менее, на первых порах все оставалось по-прежнему. За две недели, прошедшие после совещания у Молчанова, целая армия следователей сумела вырвать «признание» только у одного из обвиняемых. Между тем Сталин ежедневно справлялся о ходе следствия. Чтобы как-то ускорить дело, Молчанов с согласия Ягоды собрал еще одно совещание следователей, пригласив на него секретаря ЦК партии Ежова.

На совещании тот произнес речь, подчеркнув исключительную важность предстоящего процесса для всей партии, и призвал следователей быть более твердыми и беспощадными с врагами партии. Ежов пересыпал свое

выступление избитыми лозунгами вроде: «Нет таких крепостей, которые большевики не сумели бы взять!», обращался к самолюбию следователей. Однако наибольшее впечатление на собравшихся произвело одно место в его речи, где зазвучала новая нота, обращенная непосредственно к ним: «Если, – сказал Ежов, – кто-то из вас испытывает сомнения и колебания, если кто-нибудь по той или иной причине чувствует, что он не в силах справиться с троцкистско-зиновьевскими бандами, – пусть скажет, и мы освободим его от следовательской работы». Все прекрасно понимали, что за этим последует: отказ вести дело «троцкистско-зиновьевских бандитов» будет расценен как протест против организации самого «дела» и отказавшегося ждет немедленный арест. Каждый теперь осознал, что, не сумев добиться признания подследственного, он рискует быть заподозренным в сочувствии ему.

* * *

Сталин проявлял нетерпение. Чтобы ускорить ход следствия, Ежов и Ягода начали практиковать ночные обходы следственных кабинетов. Они взяли за правило появляться внезапно, между часом ночи и пятью часами утра. В каждом из кабинетов они задерживались минут на десять-пятнадцать, молча наблюдая, как следователь «работает». Эти ночные визиты держали следователей в состоянии непрерывного нервного возбуждения и заставили их с удвоенной энергией обрабатывать арестованных целые ночи напролет.

Первый более или менее значительный сдвиг произошел в мае 1936 года. В течение этого месяца «признания» были получены от пятнадцати обвиняемых. Из них около десяти находились в ведении сотрудников Секретного политического управления НКВД, возглавляемого Молчановым. Это дало ему основание обрушиться на следователей, переданных в его подчинение из других управлений: они, дескать, «просиживают ночи напролет со своими подследственными, не проявляя энергии и решительности». На том же совещании Молчанов привел такой пример: следователя Д. из Особого управления он застал во время ночного обхода спящим за столом. Дело было в три часа ночи; подследственный, сидя напротив Д., тоже задремал. Это было грубым нарушением дисциплинарных правил и могло бы иметь для Д. серьезные последствия, если бы, например, арестованный, воспользовавшись случаем, выбросился из окна. Молчанов сурово осудил «таких следователей, как Д.».

неустанно при этом восхваляя работников собственного управления.

Между тем все объяснялось просто.

Д., способный и опытный специалист в области следственной работы, был мало искушен в приемах шантажа и моральных истязаний. Некоторое время он слушал Молчанова, не реагируя на его слова, но затем, не выдержав, встал и заявил, что в Особом отделе он успешно вел не менее важные следственные дела, чем те, которые поручаются следователям Молчанова. К тому же действительная подоплека их успехов хорошо известна всем присутствующим.

Задетый за живое Молчанов спросил Д., на что он намекает. «Да все очень просто, – отвечал тот. – И нечего удивляться, что признания получены именно вашими следователями. Ведь общее руководство следствием находится в руках вашего управления, вот ваши сотрудники и выбирают себе арестованных, у кого есть дети... А нам достаются те, у кого детей нет. Кроме того, ваши сотрудники вначале пробуют расколоть арестованного. Если он сдается, они оставляют его себе, а если выказывает упорство, передают нам».

Это была правда, хотя для Молчанова и малоприятная. Стремясь выслужиться перед высоким начальством и блеснуть своими кадрами, он распределял арестованных именно так, как обрисовал Д. Но слова его содержали и куда более глубокий подтекст: действительно, дети старых партийцев использовались следствием как заложники, и именно это способно было сломить даже самых стойких. Многие старые большевики, готовые умереть за свои идеалы, не могли переступить через трупы собственных детей – и уступали насилию.

Взбешенный Молчанов обвинил Д. в том, что тот пытается оправдать свою неспособность клеветой на других сотрудников. Он отстранил Д. от работы и направил наркому Ягоде рапорт, предлагая заключить Д. в Соловецкий концлагерь за то, что тот безответственно заснул при исполнении служебных обязанностей.

Марк Гай, непосредственный начальник Д., заступился за него перед Ягодой и отвел угрозу концлагеря. Д. отделался сравнительно легко: его перевели с понижением из Москвы на периферию.

Тем временем следователей все более изматывали эта лихорадочная работа, нервное напряжение и недосыпание. Их ослабевающая энергия поддерживалась только нажимом сверху, особенно ночными обходами начальства. Эти ночные визиты, впрочем, не обходились и без курьезов.

Один из следователей, бывший рабочий, падая с ног от

круглосуточных допросов, украдкой прихватил с собой бутылку водки. Будучи не в состоянии бороться со сном, он доставал из стола бутылку и делал глоток. Первые ночи это как-то выручало. Но однажды он, что называется, перебрал... На его беду, обход этой ночью делал сам Ягода со своим заместителем Аграновым. Они открыли дверь очередной камеры– и их глазам предстала такая картина. Следователь сидел на столе, жалобно восклицая: «Сегодня я тебя допрашиваю, завтра ты меня. Ни гроша-то наша жизнь не стоит!» Арестованный стоял рядом и отечески похлопывал его по плечу, пытаясь утешить...

* * *

Исследуя обвинения, предъявленные подсудимым на первом из московских процессов, мы обнаружим в его стенограммах массу противоречий, подтасовок и явных фальсификаций. Когда же дело доходит до главных обвиняемых– Зиновьева, Каменева и Ивана Никитича Смирнова– нагромождение нелепостей доходит до такой степени, что, кажется, эта зловеющая конструкция должна была рассыпаться сама собой. Такая странность становится до некоторой степени объяснимой, если принять во внимание, что все обвинения, направленные против этих лиц, фабриковал – притом вплоть до мельчайших деталей – не кто иной, как сам Сталин, К тому же он лично проверял и поправлял полученные от них «признания».

В своем «завещании» Ленин не без оснований подчеркивал, что наряду с другими отрицательными чертами Сталину прежде всего была присуща грубость. Действительно, грубость была его внутренним органическим свойством. Он был груб не только с людьми, эта черта сказывалась во всех его действиях. Даже меры, которые с политической точки зрения были разумны и необходимы для страны, осуществлялись им с такой бессердечностью, что вреда от них было больше, чем пользы. В качестве примера можно указать хотя бы на коллективизацию сельского хозяйства.

Грубой сталинской хваткой был отмечен и весь ход московских процессов, начиная с создания легенды о заговоре и кончая распределением ролей в этих юридических спектаклях. Когда же дело касалось Зиновьева, Каменева, Смирнова и Троцкого, сталинская грубость еще более усугублялась его нечеловеческой ненавистью к этим людям. Тут ему изменяла даже его обычная осторожность. Переставали существовать границы, диктуемые здравым смыслом, и вообще стиралась грань

между реальностью и абсурдом.

Руководство НКВД нередко признавало всю нелепость того или иного сталинского указания, но не смело перечить. Между тем Сталин далеко не всегда пренебрегал мнениями своих советников. В партийных кругах было хорошо известно, что он с огромным вниманием относился к советам маршала Тухачевского в области военного дела, или Пятакова – в области промышленного строительства, или Литвинова – в области внешней политики. Но в сфере внутрипартийных интриг и политических подтасовок Сталин считал себя настолько большим специалистом, что не терпел тут ничьих советов и даже мнений, расходящихся с его собственным.

Насколько я знаю, на совещании в Кремле Сталин отобрал семерых обвиняемых, которые, по его мнению, должны были фигурировать на процессе как члены руководящего «троцкистско-зиновьевского центра». Замнаркома Агранов позволил себе усомниться в целесообразности включения Ивана Никитича Смирнова в состав этого «центра».

– Боюсь, – заметил Агранов, – что мы не сможем обвинить Смирнова, – ведь он уже несколько лет сидит в тюрьме.

– А вы не бойтесь, – сказал на это Сталин, зло оглядев Агранова. – Не бойтесь, только и всего.

Благоразумнее было бы посчитаться с мнением Агранова. Действительно, Смирнов неотлучно пребывал в тюрьме с 1 января 1933 года и продолжал находиться в заключении вплоть до августа 1936 года, когда начался процесс. У него просто не было физической возможности участвовать в каком-либо заговоре.

Однако Смирнов в свое время одним из первых потребовал выполнить ленинское «завещание» и сместить Сталина с поста Генерального секретаря ЦК партии. Сталину была известна популярность Смирнова среди партийцев; знал он также, что к мнению Смирнова прислушиваются старые большевики. Теперь, укрепив свои позиции, он не мог отказать себе в столь долгожданном удовольствии – отомстить Смирнову, протащив его через мучительные допросы и комедию суда и бросив наконец в камеру смертников.

Упрямство Сталина и его желание во что бы то ни стало обвинить Смирнова, невзирая на его абсолютное алиби, поставило Вышинского на суде в очень трудное положение. Чтобы придать сталинской фальсификации хоть минимальную убедительность, в своей судебной речи Вышинский заявил:

– Смирнов может сказать: я ничего не делал. Я был в тюрьме. Наивная отговорка! Смирнов действительно находился в тюрьме начиная с 1 января 1933 года, но мы знаем, что, находясь в

тюрем, он организовал контакты с троцкистами, и был обнаружен шифр, с помощью которого Смирнов, сидя в тюрьме, переписывался со своими друзьями на воле.

Однако Вышинский, разумеется, не смог продемонстрировать суду этот шифр. Не было представлено ни единого письма из тех, что Смирнов будто бы писал в тюрьме, не названо ни одного лица, с которым он якобы вел тайную переписку. Вышинский не смог даже сказать, кто из тюремной охраны помогал Смирнову, передавая на волю его зашифрованные послания. Наконец, ни один из подсудимых не сознался в получении каких бы то ни было писем от Смирнова.

Разве что за границей могли найтись люди, способные поверить, будто политические заключенные, находящиеся в сталинских тюрьмах, могли переписываться со своими товарищами на свободе. Советские граждане знали, что это совершенно невозможно. Им было известно, что семьи политзаключенных годами не могли даже узнать, в какой из тюрем содержатся их близкие и вообще живы ли они.

Да и какие, собственно, советы мог слать из тюрьмы Смирнов, отрезанный от мира, Мрачковскому или Зиновьеву? Быть может, он должен был писать им: «Цельтесь Сталину не в живот, а в голову»? Да и кому неясно, что настоящие заговорщики никогда не стали бы вести переписку о своих террористических планах с человеком, сидящим в тюрьме под надзором энкавэдистских охранников.

Несмотря на все это, Сталин не постеснялся отдать Ягоде приказание «подготовить» Смирнова к судебному процессу и выставить его одним из главных руководителей заговора.

Даже у Гитлера, организовавшего судебный спектакль, на котором Димитров обвинялся в поджоге рейхстага, хватило соображения прекратить эту комедию, когда он увидел, что юридическая подтасовка провалилась. Но Сталин оказался упрямее. Привыкший к тому, что любой его каприз автоматически приобретал силу закона, он знал, что суд вынесет Смирнову смертный приговор и этот приговор будет приведен в исполнение.

* * *

Подготовить Смирнова к судебному процессу было поручено Абраму Слуцкому. Он нес ответственность и за подготовку другого обвиняемого, Сергея Мрачковского, с которым Смирнов дружил еще с Гражданской войны. Слуцкий был начальником

Иностранного управления НКВД. Его характерными чертами были лень, страсть к показухе и пресмыкательство перед вышестоящим начальством. Слабохарактерный, трусливый, двуличный Слуцкий в то же время был неплохим психологом и обладал тем, что называется «подход к людям». Одаренный богатой фантазией, он умел притворяться и артистически разыгрывать роль, которую в данный момент считал выгодной для себя. Его выразительные глаза, лучащиеся добротой и теплом, внушали впечатление такой искренности, что на эту приманку нередко клевали даже те, кто хорошо знал Слуцкого. Зная за собой все эти качества, Слуцкий умело пользовался ими для «обработки» подсудимых.

Располагая богатым арсеналом высочайше дозволенных методов следствия, сотрудники НКВД вносили в этот процесс и свой индивидуальный подход. Одни действовали нагло и грубо, как разбойники с большой дороги, приставляющие нож к горлу жертвы. Другие прибегали к разного рода уловкам, обману, многословно распространяясь о «выгодах чистосердечного признания». К следователям этого рода, как нетрудно понять, относился и Абрам Слуцкий.

С самого начала он занял по отношению к Смирнову позицию не злобного инквизитора, а как бы посредника между Политбюро и Смирновым, причем посредника, симпатизирующего обвиняемому.

Узнав, что Политбюро обвиняет его и других руководителей оппозиции в убийстве Кирова и подготовке покушения на Сталина, Смирнов назвал это обвинение «новым сталинским фокусом».

– Хотел бы я знать, – сказал он, – как вам удастся доказать суду, что я организовывал покушение на Кирова и террористический акт против Сталина, если всем известно, что с января 1933 года я сидел в тюрьме!

– Нам не придется это доказывать, – цинично ответил Слуцкий. – Политбюро надеется, что вы сами во всем сознаетесь. Ну а если откажетесь сознаваться – вас просто не выведут на суд.

Слуцкий передал Смирнову сталинское обещание: сохранить жизнь всем, кто согласится признаться на суде в своих преступлениях. Тех же, кто отказывается выполнить требование Политбюро, расстреляют без суда, по приговору Особого совещания НКВД.

Слуцкий не применял к Смирнову такие «жесткие» приемы следствия, какими пользовались другие следователи. Он считал, и не без основания, что эти приемы все равно не сломят такого человека, как Смирнов. Он больше напирал на логические доводы, внушая Смирнову, что его спасение – в принятии условий

Политбюро и ни в чем другом, а если он будет сопротивляться, то может и проиграть. Но подследственный оставался глух к этим увещаниям. Он с каменным лицом сидел перед Слуцким, спокойно наблюдая, как тот вновь и вновь повторяет свои старые аргументы и из кожи вон лезет, чтобы придумать новые.

Убедившись, что из Смирнова ничего не выжать, Слуцкий решил на время оставить его в покое и усиленно занялся Мрачковским. Он полагал, что признание, добытое от Мрачковского, поможет ему сломить и Смирнова.

Сергей Мрачковский, как и Смирнов, был в юности рабочим. В партию большевиков он вступил в 1905 году, в 1917-м успешно руководил восстанием уральских рабочих, а в годы Гражданской войны воевал с Колчаком, находясь в подчинении у Смирнова. С того времени их и связывала тесная дружба.

Но Смирнов, щедро одаренный природой, достиг незаурядного интеллектуального развития, стал выдающимся государственным деятелем, в то время как Мрачковский оставался недалеким, малообразованным человеком, плохо разбиравшимся в сложных проблемах государственной и партийной политики.

Когда после смерти Ленина Сталин начал подбирать в свой аппарат лично преданных ему людей, с помощью которых он рассчитывал вытеснить соратников Ленина, его внимание среди других привлек и Мрачковский, революционное прошлое которого было бы очень кстати.

В самом деле, вся биография его была необычной. Даже родился он в царской тюрьме, куда его мать была заключена за революционную деятельность. Его отец также был большевиком, а ктому же рабочим. К рабочему классу принадлежал и дед, один из основателей Южно-русского рабочего союза. Активное участие Сергея Мрачковского в Октябрьской революции и гражданской войне было, таким образом, как бы продолжением семейной традиции.

Увы, Сталину не удалось привлечь Мрачковского на свою сторону. Следуя за своими друзьями по гражданской войне, в первую очередь за Смирновым, Мрачковский оказался в лагере оппозиции.

Сталин пытался делать ему авансы и после разгрома оппозиции, соблазняя его высокими военными должностями, но безуспешно.

Гражданская война не прошла бесследно для здоровья Мрачковского. Будучи контужен и неоднократно ранен, он сделался с годами крайне раздражительным и невыдержанным. Вдобавок у него появилась такая странность: он вообразил себя

выдающимся военным стратегом и с пренебрежением относился ко всем, кому за годы Гражданской войны не пришлось повоевать на командных должностях.

Слуцкий, зная все это, решил воспользоваться этим крайним эгоцентризмом Мрачковского. Он искусно эксплуатировал его тщеславие и не упускал случая пустить в ход тонко продуманную лесть.

К изумлению Слуцкого, Мрачковский дал себя уговорить без большого труда. Он согласился дать на суде нужные показания и помочь Слуцкому убедить Смирнова. В разговорах со Слуцким Мрачковский неоднократно высказывал сожаление по поводу того, что в свое время, в 1932 году, не последовал сталинскому совету:

– Сталин говорил мне: «Порви с ними, что тебя, прославленного рабочего человека, связывает с этим еврейским синедрионом?» Он обещал назначить меня командующим крупным военным округом, но отказался...

Сталин, надо полагать, был невысокого мнения об интеллигентности и культурном уровне Мрачковского, если рассчитывал, что на него подействуют столь примитивные антисемитские доводы. С другой стороны, томясь в ссылке, вдали от высокого армейского начальства и военных парадов, Мрачковский, должно быть, не раз возвращался к мысли, что, прими он предложение Сталина, – и все бы обернулось иначе...

Составив протокол допроса, в ходе которого Мрачковский оговорил себя и Смирнова, Слуцкий тотчас понес его Ягоде. У него не было сомнений, что этот документ будет срочно препровожден к Сталину и тот, дойдя до подписи Мрачковского, прочтет под нею: «Допрос вел комиссар государственной безопасности 2-го ранга А. Слуцкий».

* * *

Заклученный в энкавэди́стскую тюрьму и чувствуя, что его жизнь на волоске, Мрачковский ухватился за последний оставшийся у него шанс: умиловить Сталина и таким путем спастись. Он полностью предоставил себя в распоряжение НКВД и готов был помочь следователям сломить сопротивление своих товарищей по давней оппозиции.

Не сомневаясь в поддержке Мрачковского, Слуцкий вновь сконцентрировал усилия на Смирнове. На очной ставке со Смирновым Мрачковский пытался убедить его «поддаться» Политбюро и дать на суде необходимые показания. Один из его

главных доводов был таким: «Зиновьев и Каменев уже согласились давать показания. Уж если они на это пошли, значит, иного выхода нет».

Смирнов был поражен поведением Мрачковского. Он заявил, что не станет наговаривать на себя в угоду Сталину. Тогда Мрачковский пустил в ход свой последний довод: «Я тебе напомню, Иван Никитич, что я предоставил себя в распоряжение партии. Значит, я обязан буду выступить против тебя на суде!» На что Смирнов отрезал: «Я всегда знал, что ты трус!»

Эта фраза очень уязвила Мрачковского. Вообразивший себя героем Гражданской войны, он не мог стерпеть такой оценки, да к тому же из уст своего бывшего командира. Вне себя от бешенства, он бросил в лицо Смирнову:

– Ты, видно, рассчитываешь выбраться из этой грязной истории, не замавав белянкой рубашки?

В кабинете Слуцкого Смирнов и Мрачковский встретились как старые друзья. По камерам их развели непримиримыми врагами.

Стремясь использовать ситуацию, Слуцкий тут же состряпал протокол очной ставки, содержание которого имело мало общего с тем, что произошло. От лица Мрачковского значилось, что он, Мрачковский, присутствовал в 1932 году на тайном совещании, где Смирнов предлагал объединиться с зиновьевцами для создания организации, целью которой явится подготовка террористических актов. В этом контексте и были использованы слова Мрачковского о том, что Смирнову не удастся выйти «из этой грязной истории, не замавав белянкой рубашки». Собственно, ради этой многозначительной фразы Слуцкий и спешил поскорее набросать протокол очной ставки.

Ягода был вполне удовлетворен протоколом. Он знал, с каким удовольствием Сталин станет читать о ссоре Мрачковского со Смирновым, и решил сделать этот документ еще более впечатляющим. При перепечатке на машинке он распорядился добавить в злополучную фразу слово «кровавый». Теперь она звучала так: «А ты считаешь себя святым? Ты, видно, рассчитываешь, что тебе удастся выбраться из этой грязной и кровавой истории, не замавав белянкой рубашки!»

Очная ставка с Мрачковским произвела на Смирнова удручающее впечатление. У него вызывал отвращение прежде всего Слуцкий, так усердно натравливавший Мрачковского на бывшего командира и давнего друга, Смирнов припоминал, как Слуцкий в начале следствия прикидывался сочувствующим ему, Смирнову, и давал понять, что не намерен быть просто исполнителем распоряжений начальства. Теперь, после всего

происшедшего, Смирнов отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы Слуцкого. Узнав об этом, Ягода распорядился «забрать Смирнова от Слуцкого» и передать его для дальнейшей «обработки» Марку Гая.

Оказавшись в руках Гая, Смирнов испытал еще один тяжкий удар, потрясший его даже сильнее, чем предательство Мрачковского. Гай положил перед Смирновым заявление его бывшей жены Сафоновой, где говорилось, что в конце 1932 года он, Смирнов, получил от Троцкого «террористические директивы». Как выяснилось позже, Сафонова написала это заявление под нажимом НКВД и вдобавок поверив заверениям, что, поступая таким образом, она не только сохранит собственную жизнь, но спасет и Смирнова.

Дабы окончательно его сломить, Гай устроил ему очную ставку с Сафоновой. Как я только что заметил, сначала Сафоновой было сказано, что, подписывая показания против Смирнова, она спасает свою жизнь. Но когда она выполнила это условие, цена ее жизни, как оказалось, возросла: теперь, чтобы уцелеть, она должна помочь НКВД «убедить» Смирнова.

Встреча Сафоновой со Смирновым в кабинете Гая была драматической. Рыдая, Сафонова умоляла Смирнова спасти жизнь им обоим и подчиниться требованиям Политбюро. Она откровенно убеждала его в присутствии Гая, что никто не примет его признания за чистую монету, что все поймут: судебный процесс организован по чисто политическим соображениям. Она уговаривала его «помириться с Зиновьевым и Каменевым» и вместе с ними принять участие в этом процессе. «Тогда, – объясняла Сафонова, – на вас будет смотреть весь мир, и они не посмеют вас расстрелять».

В конце концов Смирнов подчинился требованиям Гая, но не без оговорок. Он согласился признать только часть выдвинутых против него обвинений. Никакой другой обвиняемый при таких условиях не был бы допущен до суда. Но Сталин хотел, чтобы Смирнов фигурировал на судебном процессе, даже при условии «частичного признания». Лишь бы давал показания против Троцкого. Это было для Сталина некой утонченной формой мести – Смирнова знали как одного из самых преданных и искренних друзей Троцкого.

Свое участие в процессе Смирнов оговорил обязательным условием: не вовлекать в него Сафонову. Это условие было принято, и Сафонова не фигурировала в числе обвиняемых: ее вызывали на суд только как свидетельницу, и так был отведен от нее смертный приговор.

Я не раз задавал себе вопрос: что было тем решающим

фактором, который заставил Смирнова согласиться участвовать в судебном процессе? Пример Зиновьева и Каменева? Доводы Сафоновой, которая была его верной спутницей на протяжении многих лет? Вероятно, самым убедительным оказался довод Сафоновой: «Помиришься с Зиновьевым и Каменевым и предстанешь с ними перед судом. На глазах у всего света тебя не посмеют расстрелять». Но думаю, что ни этот довод, ни вся сумма средств воздействия не могли бы заставить Смирнова участвовать в позорном спектакле сталинского суда. Если б он знал, что ценой собственной жизни сможет опровергнуть сталинскую клевету против него и его доброго имени, – тогда бы он, без сомнения, отказался от судебной комедии и предпочел смерть. Но такой выбор ничего бы не изменил. Его убили бы втайне, а прочие обвиняемые, не исключая Зиновьева и Каменева, послушно порочили бы в зале суда его имя.

Поэтому Смирнову, вероятно, показалось более правильным все же использовать тот единственный шанс, который у него оставался. Допустим, Сталин не сдержит свое обещание и не сохранит ему жизнь. Но даже в этом случае его присутствие на суде сможет хоть до некоторой степени сдержать поток злобных инсинуаций и не позволит другим подсудимым и обвинителю беспардонно лгать, как если бы он был уже мертв.

КРЕМЛЕВСКАЯ СДЕЛКА

Из всех арестованных членов партии, отобранных Сталиным для открытого процесса, наибольшее значение он придавал Зиновьеву и Каменеву. С этими двумя ближайшими соратниками Ленина, способными объединить вокруг себя партийные массы, Сталин вновь сводил свои старые счеты – и на сей раз уже окончательно.

«Обработка» Зиновьева и Каменева была поручена тем сотрудникам НКВД, которых он знал лично: Агранову, Молчанову и Миронову.

Миронов отвечал за многие важнейшие дела, проходившие через Экономическое управление НКВД, и Ягода, выезжая в Кремль для доклада Сталину, нередко брал с собой и Миронова. Среди следственных дел, которые Миронов вел под личным руководством Сталина, было знаменитое «дело Промпартии» и дело английских инженеров из фирмы «Метро Виккерс» – оба эти дела относились к самому началу 30-х годов и произвели немалую сенсацию.

Сталин быстро оценил выдающиеся способности Миронова и начал поручать ему специальные задания, о выполнении которых Миронов отчитывался лично перед ним. На этом он быстро сделал карьеру. В 1934 году по предложению Сталина его назначили начальником Экономического управления НКВД, а еще через год – заместителем Ягоды. Отныне он возглавлял Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). В его ведении была вся оперативная работа НКВД. Одно время среди сотрудников НКВД циркулировал слух, будто Сталин предполагает сместить Ягodu и назначить Миронова на его место, но люди, достаточно хорошо информированные, этому не верили. Они знали, что в качестве руководителя НКВД Сталин нуждается в человеке с макиавеллиевым складом ума, который был бы в первую очередь специалистом по части политических интриг. Именно таким был Ягода, в отличие от дельного экономиста и контрразведчика Миронова.

Одним из достоинств Миронова была его феноменальная память – в этом отношении Ягоде было до него далеко. Именно поэтому Ягода привык брать Миронова с собой к Сталину даже в тех случаях, когда доклад не относился непосредственно к компетенции Миронова. Важно было запоминать, не пропуская ничего, мельчайшие детали сталинских инструкций и наставлений. После возвращения из Кремля Миронов, как правило, сразу же усаживался за стол и во всех подробностях

записывал для Ягоды каждое из сталинских замечаний, притом теми же словами, какими оперировал Сталин. Это было особенно важно для Ягоды в тех случаях, когда Сталин наставлял его, какую псевдомарксистскую терминологию он должен использовать, обращаясь в Политбюро с тем, чтобы оно вынесло именно те решения, которые тайно отвечали намерениям Сталина. Подобные наставления Ягода получал всякий раз, когда Сталин начинал подкапываться под того или иного члена Политбюро либо ЦК для того, чтобы избавиться от него.

Миронов достиг высокого положения. Он обладал властью и пользовался немалым авторитетом. Но это не принесло ему счастья. Дело в том, что от природы он был очень деликатным и совестливым человеком. Его угнетала та роль, какую он вынужден был играть в гонениях на старых большевиков. Чтобы устранившись от этих неприятных обязанностей, Миронов одно время пытался получить назначение на разведывательную работу за рубежом. Позже он сделал попытку перевестись в народный комиссариат внешней торговли, на должность заместителя наркома, но когда дело дошло до утверждения этого перевода в ЦК, Сталин запретил Миронову даже думать об этом.

Пессимизм и разочарование в жизни, отличавшие теперь Миронова, все более сказывались на его семейной жизни. Его очень хорошенькая жена Надя, которую он любил без памяти, вечно пребывала в состоянии восторженного увлечения кем-то на стороне; его семейная жизнь рушилась.

* * *

Однажды ночью— дело было весной 1936 года – Миронов позвонил мне и спросил, не могу ли я зайти в его кабинет. Он собирался сообщить мне нечто «чрезвычайно интересное». Я пошел.

«У меня только что состоялся разговор с Каменевым, – без всяких предисловий начал Миронов. Он был бледен и выглядел возбужденным. – Вызывая Каменева из внутренней тюрьмы, я составил в уме определенный план: как я познакомлю его с обвинениями, выдвигаемыми против него, и что я ему вообще должен говорить. Но когда я услышал топот сапог охранника и шум в приемной, я так разнервничался, что думал только об одном: как бы не выдать своего волнения.

Дверь открылась, и вошел Каменев в сопровождении охранника. Не глядя на него, я расписался на сопроводительной бумажке и отпустил охранника. Каменев стоял здесь, посредине

кабинета, и выглядел совсем старым и изможденным. Я указал ему на стул, он сел и вопросительно взглянул на меня. Честно сказать, я был смущен. Как-никак все же это Каменев! Его речи я слушал когда-то с таким благоговением! Залы, где он выступал, дрожали от аплодисментов. Ленин сидел в президиуме и тоже аплодировал. Мне было так странно, что этот сидящий тут заключенный – тот же самый Каменев и я имел полную власть над ним...

– Ну что там опять? – внезапно спросил Каменев.

– Против вас, товарищ Каменев... гражданин Каменев, – поправился я, – имеются показания, сделанные рядом арестованных оппозиционеров. Они показывают, что начиная с 1932 года вы совместно с ними готовили террористические акты в отношении товарища Сталина и других членов Политбюро и что вы и Зиновьев подослали убийцу к Кирову.

– Это ложь, и вам известно, что это ложь! – резко возразил Каменев.

Я открыл папку и прочел ему некоторые из показаний Рейнгольда и еще нескольких арестованных.

– Скажите мне, Миронов, вы, несомненно, учили историю партии и знаете отношение большевиков к индивидуальному террору. Вы действительно верите этой чепухе?

Я ответил, что в моем распоряжении имеются свидетельские показания и мое дело – выяснить, правду ли показывают свидетели.

– Прошу вас только об одном, – сказал Каменев. – Я требую, чтобы меня свели лицом к лицу с Рейнгольдом и со всеми теми, кто меня оклеветал.

Каменев объяснил, что с осени 1932 года он и Зиновьев почти все время находились в тюрьме или ссылке, а в те недолгие промежутки, что они провели на свободе, за ними постоянно следили агенты НКВД. Секретное политическое управление НКВД даже поселило своего сотрудника в каменевской квартире – под видом телохранителя, и этот сотрудник рылся в его письменном столе и следил, кто его навещает.

– Я спрашиваю вас, – повторил Каменев, – как при таких условиях я мог готовить террористические акты?

Насчет утверждений Рейнгольда, будто он несколько раз присутствовал в квартире Каменева на тайных совещаниях, Каменев предложил мне посмотреть дневник наружных наблюдений НКВД, куда, несомненно, заносились результаты надзора за его квартирой, и лично убедиться, что Рейнгольд никогда не переступал ее порога.

– А вы что скажете на все это? – спросил я Миронова,

выслушав его рассказ.

– Что я могу сказать! – ответил Миронов, пожимая плечами. – Я прямо заявил ему, что мои функции как следователя в данном частном случае ограничены, потому что Политбюро полностью уверено в правдивости показаний, направленных против него. Каменев рассердился и заявил мне:

– Можете передать Ягоде, что я никогда больше не приму участия в судебном фарсе, какой он устроил надо мной и Зиновьевым в прошлом году. Передайте Ягоде, что на этот раз ему придется доказывать мою виновность и что ни в какие сделки с ним я больше не вступаю. Я потребую, чтобы на суд вызвали Медведя и других сотрудников ленинградского НКВД, и сам задам им вопросы насчет убийства Кирова!

На этом первый разговор Миронова с Каменевым закончился.

– Я чувствую, что дело Каменева мне не по плечу, – сказал Миронов. – Лучше было поручить переговоры с Каменевым какому-нибудь видному члену ЦК, с которым он лично знаком и может разговаривать на равных. Представитель ЦК мог бы изложить это дело Каменеву таким образом: «Вы боролись с ЦК партии и проиграли. Теперь ЦК требует от вас, в интересах партии, дать такие-то показания. Если вы откажетесь, вас ждет то-то и то-то». Но мне-то никто не позволит так с ним разговаривать. Мне приказано получить признание Каменева чисто следовательским методом, главным образом на основании фальшивых показаний Рейнгольда. Чувствую, что зря я взялся за это дело...

* * *

Миронов уступил требованию Каменева и дал ему возможность встретиться с Рейнгольдом. Вспомним, что тот почти с самого начала следствия предоставил себя в распоряжение Ягоды. На очной ставке с Каменевым он держался вызывающе: да, он неоднократно бывал в его квартире, когда Каменев доказывал необходимость убить Сталина и его ближайших помощников и сотрудников.

– Зачем вы лжете? – спросил Каменев.

– НКВД установит, кто лжет: я или вы! – отвечал Рейнгольд.

– Вы утверждаете, что были в моей квартире несколько раз, – продолжал Каменев. – Не можете ли сказать точнее, когда это происходило?

Рейнгольд перечислил: в 1932, 1933 и 1934 годах.

– Раз вы бывали у меня так часто, вы наверняка сможете

припомнить хоть некоторые особенности моей квартиры, – и Каменев задал Рейнгольду несколько вопросов, касающихся расположения квартиры и дома.

Но Рейнгольд не рискнул отвечать на эти вопросы. Он заявил Каменеву, что тот не следователь и не имеет права его допрашивать.

Тогда Каменев попросил Миронова задать Рейнгольду те же вопросы. Однако Миронов уклонился, не смея помочь Каменеву отместить ложные обвинения, придуманные Сталиным. Каменеву оставалось только просить Миронова, чтобы тот хотя бы отразил в протоколе очной ставки тот факт, что Рейнгольд отказался отвечать на вопросы, связанные с каменевской квартирой.

Очная ставка закончилась. Чтобы не выполнять просьбу Каменева, Миронов решил вовсе не составлять протокола. Подследственный даже не спросил, почему очная ставка не протоколируется. Он прекрасно понимал, что так называемое следствие – всего лишь прелюдия к решающему этапу, когда Ягода окончательно сбросит маску законности и цинично потребует, чтобы Каменев сознался во всем, в чем его обвиняют. Миронов доложил Ягоде, что следствие по делу Каменева зашло в тупик, и предложил, чтобы кто-либо из членов ЦК вступил в переговоры с Каменевым от имени Политбюро. Ягода воспротивился этому. Еще не время, заявил он: сначала надо «как следует вымотать Каменева и сломить его дух».

– Я пришлю к вам в помощь Чертока, – обещал Ягода. – Он ему живо рога обломает!..

Черток, молодой человек лет тридцати, представлял собой типичный продукт сталинского воспитания. Невежественный, самодовольный, бессовестный, он начал свою службу в «органах» в те годы, когда сталинисты уже одержали ряд побед над старыми партийцами и слепое повиновение диктатору сделалось главной доблестью члена партии. Благодаря близкому знакомству с семьей Ягоды он достиг видного положения и был назначен заместителем начальника Оперативного управления НКВД, отвечавшего за охрану Кремля. Мне никогда не приходилось видеть таких наглых глаз, какие были у Чертока. На нижестоящих они глядели с невыразимым презрением. Среди следователей Черток слыл садистом; говорили, что он пользуется любой возможностью унижить заключенного. В именах Зиновьева и Каменева, Бухарина и Троцкого для Чертока не заключалось никакой магической силы. Каменева он считал важной персоной только потому, что его делом интересовался Сталин. Во всем остальном Каменев был для Чертока заурядным беззащитным заключенным, на ком он был волен проявлять свою власть с

обычной для него садистской изощренностью. Черток форменным образом мучил Каменева.

– Я весь содрогался, – рассказывал мне Мирон, – слыша, что происходит в соседнем кабинете, у Чертока. Он кричал на Каменева: «Да какой из вас большевик! Вы трус, сам Ленин это сказал! В дни Октября вы были штрейкбрехером! После революции метались от одной оппозиции к другой. Что полезного вы сделали для партии? Ничего! Когда настоящие большевики боролись в подполье, вы шлялись по заграничным кафе. Вы просто прихлебатель у партийной кассы, и больше никто!»...

Как-то поздним вечером я зашел к Миронову узнать, что слышно нового. Когда я вошел в его слабо освещенный кабинет, Миронов сделал мне знак помолчать и указал на приоткрытую дверь, ведущую в соседнее помещение. Оттуда как раз донесся голос Чертока.

– Вы должны быть нам благодарны, – кричал Черток, – что вас держат в тюрьме! Если мы вас выпустим, первый встречный комсомолец ухлопает вас на месте! После убийства Кирова на комсомольских собраниях то и дело спрашивают: почему Зиновьев и Каменев до сих пор не расстреляны? Вы живете своим прошлым и воображаете, что вы для нас все еще иконы. Но спросите любого пионера, кто такие Зиновьев и Каменев, – и он ответит: враги народа и убийцы Кирова!

Вот так, по мнению Ягоды, и следовало «изматывать» Каменева и «обламывать ему рога». Хотя Черток был подчинен Миронову, тот не решался обуздать пыл своего подчиненного. Это было бы слишком опасно. Черток был мастером инсинуаций и интриганом. Как один из заместителей начальника охраны Кремля, он часто сопровождал Сталина, и если бы он сказал ему хоть одно слово, что Миронов заступает за Каменева, песенка Миронова была бы спета.

Наглые разглагольствования Чертока, разумеется, не продвинули следствие ни на шаг.

* * *

Даже верхушка НКВД, знавшая коварство и безжалостность Сталина, была поражена той звериной ненавистью, какую он проявлял в отношении старых большевиков, особенно Каменева, Зиновьева и Смирнова. Его гнев не знал границ, когда он слышал, что тот или иной заключенный «держится твердо» и отказывается подписать требуемые показания. В такие минуты Сталин зеленел

от злости и выкрикивал хриплым голосом, в котором прорезался неожиданно сильный грузинский акцент: «Скажите им, – это относилось к Зиновьеву и Каменеву, – что бы они ни делали, они не остановят ход истории. Единственное, что они могут сделать, – это умереть или спасти свою шкуру. Поработайте над ними, пока они не приползут к вам на брюхе с признаниями в зубах!»

На одном из кремлевских совещаний Миронов в присутствии Ягоды, Гая и Слуцкого докладывал Сталину о ходе следствия по делу Рейнгольда, Пикеля и Каменева. Миронов доложил, что Каменев оказывает упорное сопротивление; мало надежды, что удастся его сломить.

– Так вы думаете, Каменев не сознается? – спросил Сталин, хитро прищурившись.

– Не знаю, – ответил Миронов. – Он не поддается уговорам.

– Не знаете? – спросил Сталин с подчеркнутым удивлением, пристально глядя на Миронова. – А вы знаете, сколько весит наше государство, со всеми его заводами, машинами, армией, со всем вооружением и флотом?

Миронов и все присутствующие с удивлением смотрели на Сталина, не понимая, куда он клонит.

– Подумайте и ответьте мне, – настаивал Сталин.

Миронов улыбнулся, полагая, что Сталин готовит какую-то шутку. Но Сталин, похоже, шутить не собирался. Он смотрел на Миронова вполне серьезно.

– Я вас спрашиваю, сколько все это весит, – настаивал он.

Миронов смешался. Он ждал, по-прежнему надеясь, что Сталин сейчас обратит все в шутку, но Сталин продолжал смотреть на него в упор, ожидая ответа. Миронов пожал плечами и, подобно школьнику на экзамене, сказал неуверенно:

– Никто не может этого знать, Иосиф Виссарионович. Это из области астрономических величин.

– Ну а может один человек противостоять давлению такого астрономического веса? – строго спросил Сталин.

– Нет, – ответил Миронов.

– Ну так и не говорите мне больше, что Каменев или кто-то другой из арестованных способен выдержать это давление. Не являйтесь ко мне с докладом, – заключил Сталин, – пока у вас в портфеле не будет признания Каменева!

После этого Слуцкий доложил, как продвигается дело со Смирновым. Слуцкий тоже получил соответствующее внушение. Сталин в этот день был определенно не в духе.

Когда совещание уже близилось к концу, Сталин сделал знак Миронову подойти поближе.

– Скажите ему (Каменеву), что если он откажется явиться на

суд, мы найдем ему подходящую замену – его собственного сына, который признается суду, что по заданию своего папаши готовил террористический акт против руководителей партии... Скажите ему: мы имеем сообщение, что его сын вместе с Рейнгольдом выслеживал автомобили Ворошилова и Сталина на Можайском шоссе. Это сразу на него подействует...

* * *

Когда Каменев уже был в тисках инквизиции, Зиновьев лежал больным в своей одиночной камере. Допросы Зиновьева были отложены до его выздоровления. Желая наверстать упущенное, Ежов решил не пропускать Зиновьева через ту обработку, которой подвергался Каменев, а открыто потребовать от него, именем Политбюро, необходимых для дела «признаний».

При разговоре Ежова с Зиновьевым присутствовали Агранов, Молчанов и Миронов. Ежов попросил Миронова вести подробный протокол.

Поздней ночью Зиновьева ввели в кабинет Агранова, где должен был состояться разговор. Он выглядел совершенно больным и едва держался на ногах. Беседуя с ним, Ежов то и дело заглядывал в блокнот, где у него были записаны указания, полученные от Сталина. Разговор занял более двух часов.

На следующий день Ежов прочитал протокол и внес в него несколько поправок. Затем он приказал Миронову сделать только одну машинописную копию и принести ему вместе с первоначальной записью: протокол требовалось доставить Сталину. Миронов позволил себе послушаться Ежова и заказал еще одну копию для Ягоды. Тот очень болезненно воспринимал вмешательство Ежова в дела НКВД и следил за каждым его шагом, надеясь его на чем-нибудь подловить и, дискредитировав в глазах Сталина, избавиться от его опеки.

С самого начала Ежов заявил Зиновьеву, что советская контрразведка перехватила какие-то документы германского генштаба, которые показывают, что Германия и Япония ближайшей весной готовят военное нападение на Советский Союз. В этой обстановке партия не может больше допускать ведения антисоветской пропаганды, которой занимается за границей Троцкий. Больше чем когда бы то ни было наша страна нуждается в мобилизации международного пролетариата на защиту «отечества трудящихся». От имени Политбюро Ежов объявил Зиновьеву, что он должен помочь партии «нанести по Троцкому и его банде сокрушительный удар, чтобы отогнать

рабочих за границей от его контрреволюционной организации на пушечный выстрел».

– Что вам от меня требуется? – осторожно спросил Зиновьев.

Ежов, не давая прямого ответа, заглянул в свою шпаргалку и начал перечислять зиновьевские грехи по отношению к руководству партии и упрекать его и Каменева в том, что они до сего времени полностью не разоружились.

– Политбюро, – продолжал Ежов, – в последний раз требует от вас разоружиться до такой степени, чтобы для вас была исключена малейшая возможность когда-нибудь снова подняться против партии.

В конце концов Ежов сказал Зиновьеву, в чем суть этого требования, исходящего от Политбюро: он, Зиновьев, должен подтвердить на открытом судебном процессе показания других бывших оппозиционеров, что по уговору с Троцким он готовил убийство Сталина и других членов Политбюро.

Зиновьев с негодованием отверг такое требование. Тогда Ежов передал ему слова Сталина: «Если Зиновьев добровольно согласится предстать перед открытым судом и во всем сознается, ему будет сохранена жизнь. Если же он откажется, его будет судить военный трибунал – за закрытыми дверями. В этом случае он и все участники оппозиции будут ликвидированы».

– Я вижу, – сказал Зиновьев, – настало время, когда Сталину понадобилась моя голова. Ладно, берите ее!

– Не рискуйте своей головой понапрасну, – заметил Ежов. – Вы должны понять обстановку: хотите вы или нет, партия доведет до сведения трудящихся масс в СССР и во всем мире показания остальных обвиняемых, что они готовили террористические акты против Сталина и других вождей по указаниям, исходившим от Троцкого и от вас.

– Я вижу, что вы все предусмотрели и не нуждаетесь в том, чтобы я клеветал на самого себя, – сказал Зиновьев. – Почему же тогда вы так настойчиво меня уговариваете? Не потому ли, что для большего успеха вашего суда важно, чтобы Зиновьев сам заклеил себя как преступник? Как раз этого-то я никогда и не сделаю!

Ежов возразил ему:

– Вы ошибаетесь, если думаете, что мы не сможем обойтись без вашего признания. Если на то пошло, кто может помешать нам вставить все, что требуется, в стенограмму судебного процесса и объявить в печати, что Григорий Евсеевич Зиновьев, разоблаченный на суде всеми прочими обвиняемыми, полностью сознался в своих преступлениях?

– Значит, выдадите фальшивку за судебный протокол? –

негодующе воскликнул Зиновьев.

Ежов посоветовал Зиновьеву не горячиться и все спокойно обдумать.

– Если вам безразлична ваша собственная судьба, – продолжал он, – вы не можете оставаться равнодушным к судьбе тысяч оппозиционеров, которых вы завели в болото. Жизнь этих людей, как и ваша собственная, – в ваших руках.

– Вы уже не впервые накидываете мне петлю на шею, – сказал Зиновьев. – А теперь вы ее еще и затяну ли. Вы взяли курс на ликвидацию ленинской гвардии и во обще всех, кто боролся за революцию. За это вы ответите перед историей!

Он остановился, чтобы перевести дыхание, и слабым голосом добавил:

– Скажите Сталину, что я отказываюсь...

* * *

Чтобы нажать на Зиновьева и показать ему, что у НКВД есть против него достаточно показаний, Ежов распорядился устроить Зиновьеву очную ставку с несколькими обвиняемыми, давшими эти показания.

Первая из этих встреч, в которой участвовал бывший секретарь Зиновьева Пикель, кончилась полным провалом. Пикель потерял самообладание и никак не мог осмелиться в присутствии Зиновьева повторить те ложные обвинения, которые незадолго до того согласился подписать. Чтобы помочь ему, следователь вслух прочел письменные показания Пикеля и спросил, подтверждает ли он их. Но Пикель не смог выдать из себя ни слова, он только кивал головой. Зиновьев, взывая к его совести, умолял его говорить только правду.

Опасаясь, что Пикель вообще откажется от своих показаний, следователь поспешил прервать очную ставку. После этого эпизода Ягода распорядился не устраивать впредь никаких свиданий Зиновьева или Каменева с другими арестованными. Ягода опасался, что Зиновьев и Каменев могут «испортить» этих людей, уже уступивших давлению НКВД.

Обжегшись на Зиновьеве, Ежов попытался воздействовать на Каменева. Его разговор с Каменевым мало отличался от беседы с Зиновьевым. Правда, на этот раз Ежов попытался сыграть на привязанности Каменева к сыновьям, используя на все лады сталинскую угрозу: в случае необходимости «органы» не преминут заменить Каменева на процессе его сыном. Каменеву дали прочесть свежее показание Рейнгольда: тот признавался, что

вместе с сыном Каменева выслеживал автомобили Сталина и Ворошилова возле Одинцова, на Можайском шоссе.

Каменев был как громом поражен. Он поднялся со стула и крикнул в лицо Ежову, что тот – карьерист, пролезший в партию, могильщик революции... Задышавшись от волнения, обессиленный, он рухнул на стул. Ежов тут же, со злобной гримасой на лице, вышел из кабинета, оставив Каменева наедине с Мироновым.

Каменев прижал руки к груди. Он с трудом переводил дыхание, но на предложение Миронова вызвать врача ответил отказом. «Вот, – сказал он, отдышавшись, – вы наблюдаете сейчас термидор в чистом виде. Французская революция преподавала нам хороший урок, но мы не сумели воспользоваться им. Мы не знали, как уберечь нашу революцию от термидора. Именно в этом – наша главная ошибка, за которую история нас осудит».

Организаторы процесса, которым удалось припереть Зиновьева и Каменева к стене, сделали все необходимое, чтобы не дать им покончить жизнь самоубийством. В одиночные камеры, где они содержались, под видом арестованных оппозиционеров были подсажены агенты НКВД, неусыпно следившие за обоими и информировавшие руководителей следствия об их настроении и о каждом произнесенном ими слове.

Чтобы их сильнее вымотать, Ягода распорядился включать в их камерах центральное отопление, хотя стояло лето и в камерах без того было нечем дышать. Время от времени подсаженные агенты вызывались якобы на допрос, а в действительности для того, чтобы доложить начальству результаты своих наблюдений, отдохнуть от невыносимой жары и подкрепиться. Едва переступив порог следовательского кабинета, они спешили сбросить мокрые от пота рубахи и набрасывались на приготовленные для них прохладительные напитки.

Один из этих агентов, человек малообразованный и простоватый на вид, позже охотно рассказывал, как он играл роль заключенного – сначала в камере Каменева, а затем – Зиновьева.

– Чего они хотят от меня, – жаловался он, едва за ним захлопывалась дверь камеры. – Следователи говорят мне, что я троцкист, но я никогда не был в оппозиции! Я неграмотный рабочий и ничего не понимаю в политике. У меня остались дома жена и дети. Что со мной сделают? Что со мной будет?

Зиновьев ничего не отвечал, продолжал рассказывать агенту, и вообще за все время не сказал ни слова. Только однажды я случайно заметил, как он по-волчьи, исподтишка косится на меня. А Каменев вел себя иначе. Он мне сочувствовал, говорил, что НКВД не интересуется такими, как я, что меня продержат недолго и скоро выпустят. Каменев вообще человек

компанейский. Он расспрашивал о моих детях, делился со мной сахаром, и когда я отказывался, он настаивал, чтобы я его все же взял.

Зиновьев страдал астмой и мучился от жары. Вскоре его страдания усугубились: его начали изводить приступы колик в печени. Он катался по полу и умолял, чтобы пришел Кушнер – врач, который мог бы сделать инъекцию и перевести его в тюремную больницу. Но Кушнер неизменно отвечал, что не имеет права сделать ни то, ни другое без специального разрешения Ягоды. Его функции ограничивались тем, что он выписывал Зиновьеву какое-то лекарство, от которого тому становилось еще хуже. Было сделано все, чтобы полностью измотать Зиновьева и довести его до такого состояния, когда бы он был готов на все. Конечно, при этом Кушнер был обязан следить, чтобы Зиновьев, чего доброго, не умер.

Даже смерть не должна была избавить Зиновьева от той, еще более горькой судьбы, какую уготовил ему Сталин.

Тем временем Миронов продолжал допрашивать Каменева. Он вслух, в его присутствии, анализировал положение дел и пытался убедить его, что у него нет иного выбора, кроме как принять условия Сталина и тем самым спасти себя и свою семью. Я совершенно уверен, что Миронов был искренен: подобно большинству руководителей НКВД, он поверил, что Сталин не посмеет расстрелять таких людей, как Зиновьев и Каменев, и был убежден, что ему необходимо только публично опозорить бывших лидеров оппозиции.

Однажды вечером, когда у Миронова в кабинете был Каменев, туда зашел Ежов. Он еще раз завел мучительно длинный разговор с Каменевым, стараясь внушить ему, что как бы он ни сопротивлялся, отвертеться от суда ему не удастся и что только подчинение воле Политбюро может спасти его самого и его сына. Каменев молчал. Тогда Ежов снял телефонную трубку и в его присутствии приказал Молчанову доставить во внутреннюю тюрьму сына Каменева и готовить его к суду вместе с другими обвиняемыми по делу «троцкистско-зиновьевского террористического центра».

* * *

Все это время Ягода внимательно следил за состоянием Зиновьева и Каменева, но не спускал также глаз с Ежова. Как я уже упоминал, Ягodu уязвило до глубины души то, что Сталин поручил Ежову контролировать подготовку судебного процесса.

Он тщательно проанализировал протокол разговора Ежова с Зиновьевым и понял, что Ежов задумал обработать Зиновьева по всем правилам инквизиторского искусства, так что рано или поздно Зиновьев и Каменев придут к выводу о бесполезности сопротивления. Ягода не мог допустить, чтобы слава победителя досталась Ежову. В глазах Сталина он, Ягода, должен был оставаться незаменимым наркомом внутренних дел. Для этого ему лично надлежало принудить Зиновьева и Каменева к капитуляции и обеспечить успешную постановку самого грандиозного в истории судебного процесса.

По существу на карту была поставлена вся карьера Ягоды. Он знал, что члены Политбюро ненавидят и боятся его. Это под их влиянием в 1931 году Сталин направил в «органы» члена ЦК Акулова, который должен был стать во главе ОГПУ. Правда, Ягоде вскоре удалось добиться дискредитации Акулова и убедить Сталина убрать его из «органов». Но Ежов-то был действительно сталинским фаворитом и поэтому представлял несравненно большую опасность.

Тщательно следя за подготовкой судебного процесса, Ягода приказал своим помощникам немедленно поставить его в известность, как только будут замечены хоть малейшие признаки колебаний Зиновьева и Каменева.

Такой момент наступил в июле 1936 года. Как-то после чрезвычайно бурного объяснения с Ежовым и Молчановым, растянувшегося на целую ночь, Зиновьев, уже вернувшись в камеру, попросил вызвать начальника тюрьмы и сказал тому, что просит доставить его к Молчанову снова. Там он стал настаивать, чтобы ему разрешили поговорить с Каменевым наедине. С такой просьбой он обращался к следствию впервые. По тону Зиновьева и по некоторым другим признакам в его поведении Молчанов сообразил, что Зиновьев намерен капитулировать и хочет обсудить свое решение с Каменевым.

Дали знать Ягоде, который тут же распорядился привести Зиновьева в свой кабинет. Он сказал Зиновьеву, что его просьба предоставить свидание с Каменевым будет удовлетворена. На этот раз Ягода был слащав до приторности. Он обращался к заключенному, как в прежние времена, по имени-отчеству— Григорий Евсеевич— и выразил надежду, что, обсудив положение, оба обвиняемых придут к единственно разумному выводу: нельзя не подчиниться воле Политбюро. Пока Ягода беседовал с Зиновьевым, помощник начальника Оперативного управления НКВД занимался установкой микрофона в камере, где должна была состояться встреча Зиновьева и Каменева.

Их разговор занял около часа. Руководство НКВД не было

заинтересовано в ограничении времени их встречи. Располагая микрофоном, оно полагало, что чем дольше они будут беседовать, тем больше удастся разузнать об их действительных намерениях.

Зиновьев высказал мнение, что необходимо явиться на суд, но при условии, что Сталин лично подтвердит обещания, которые от его имени давал Ежов. Несмотря на некоторые колебания и возражения, Каменев в конце концов согласился с ним, выдвинув условие для переговоров: Сталин должен подтвердить свои обещания в присутствии всех членов Политбюро.

После такого разговора «наедине» Зиновьев и Каменев были доставлены в кабинет Ягоды. Каменев объявил, что они согласны дать на суде показания, но при условии, что Сталин подтвердит им свои обещания в присутствии Политбюро в полном составе.

Сталин воспринял известие о капитуляции Зиновьева и Каменева с нескрываемой радостью. Пока Ягода, Молчанов и Миронов подробно докладывали ему, как это произошло, он, не скрывая удовлетворения, самодовольно поглаживал усы. Выслушав доклад, он встал со стула и, возбужденно потирая руки, выразил свое одобрение: «Браво, друзья! Хорошо сработано!»

* * *

На следующий день, поздно вечером, проходя мимо здания НКВД, я натолкнулся на Миронова, стоявшего возле подъезда № 1, предназначенного для Ягоды и его ближайших помощников. «Я тут жду Ягodu, – сказал Миронов. – Он сейчас в Кремле, но должен появиться с минуты на минуту. Мы с Молчановым только что оттуда, возили к Сталину Зиновьева и Каменева. Ох, что там было! Загляни ко мне через часок».

Когда я вошел к нему в кабинет, он ликующе объявил: «Никакого расстрела не будет! Сегодня это окончательно выяснилось!» Поскольку Миронов рассказал мне об очень важных вещах, я постараюсь передать все, что услышал от него, как можно более точно.

«Сегодня, отбыв в Кремль, – рассказывал Миронов, – Ягода велел, чтобы Молчанов и я не отлучались из своих кабинетов и были готовы доставить в Кремль Зиновьева и Каменева для разговора со Сталиным. Как только Ягода позвонил оттуда, мы забрали их и поехали.

Ягода встретил нас в приемной и проводил в кабинет Сталина. Из членов Политбюро, кроме Сталина, там был только

Ворошилов. Он сидел справа от Сталина. Слева сидел Ежов, Зиновьев и Каменев вошли молча и остановились посередине кабинета. Они ни с кем не поздоровались. Сталин показал рукой на ряд стульев. Мы все сели – я рядом с Каменевым, а Молчанов – с Зиновьевым.

– Ну, что скажете? – спросил Сталин, внезапно по смотрев на Зиновьева и Каменева.

Те обменялись взглядами.

– Нам сказали, что наше дело будет рассматриваться на заседании Политбюро, – сказал Каменев.

– Перед вами как раз комиссия Политбюро, уполномоченная выслушать все, что вы скажете, – ответил Сталин. Каменев пожал плечами и окинул Зиновьева вопросительным взглядом. Зиновьев встал и заговорил.

Он начал с того, что за последние несколько лет ему и Каменеву давалось немало обещаний, из которых ни одно не выполнено, и спрашивал, как же после всего этого они могут полагаться на новые обещания. Ведь когда после смерти Кирова их заставили признать, что они несут моральную ответственность за это убийство, Ягода передал им личное обещание Сталина, что это – последняя их жертва. Тем не менее, теперь против них готовится позорнейшее судилище, которое покроем грязью не только их, но и всю партию.

Зиновьев взывал к благоразумию Сталина, заклиная его отменить судебный процесс и доказывая, что он бросит на Советский Союз пятно небывалого позора. „Подумайте только, – умолял Зиновьев со слезами в голосе, – вы хотите изобразить членов ленинского Политбюро и личных друзей Ленина беспринципными бандитами, а нашу большевистскую партию, партию пролетарской революции, представить змеиным гнездом интриг, предательства и убийств... Если бы Владимир Ильич был жив, если б он видел все это!“ – воскликнул Зиновьев и разразился рыданиями.

Ему налили воды. Сталин выждал, пока Зиновьев успокоится, и негромко сказал: „Теперь поздно плакать. О чем вы думали, когда вступали на путь борьбы с ЦК? ЦК не раз предупреждал вас, что ваша фракционная борьба кончится плачевно. Вы не послушали – а она действительно кончилась плачевно. Даже теперь вам говорят: подчинитесь воле партии – и вам и всем тем, кого вы завели в болото, будет сохранена жизнь. Но вы опять не хотите слушать. Так что вам останется благодарить только самих себя, если дело закончится еще более плачевно, так скверно, что хуже не бывает“.

– А где гарантия, что вы нас не расстреляете? – наивно

спросил Каменев.

– Гарантия? – переспросил Сталин. – Какая, собственно, тут может быть гарантия? Это просто смешно! Может быть, вы хотите официального соглашения, заверенного Лигой Наций? – Сталин иронически усмехнулся. – Зиновьев и Каменев, очевидно, забывают, что они не на базаре, где идет торг насчет украденной лошади, а на Политбюро коммунистической партии большевиков. Если заверения, данные Политбюро, для них недостаточны – тогда, товарищи, я не знаю, есть ли смысл продолжать с ними разговор.

Каменев и Зиновьев ведут себя так, – вмешался Ворошилов, – словно они имеют право диктовать Политбюро свои условия. Это возмутительно! Если у них осталась хоть капля здравого смысла, они должны стать на колени перед товарищем Сталиным за то, что он сохраняет им жизнь. Если они не желают спасти свою шкуру, пусть дышат. Черт с ними!

Сталин поднялся со стула и, заложив руки за спину, начал прохаживаться по кабинету.

– Было время, – заговорил он, – когда Каменев и Зиновьев отличались ясностью мышления и способностью подходить к вопросам диалектически. Сейчас они рассуждают, как обыватели. Да, товарищи, как самые отсталые обыватели. Они себе внушили, что мы организуем судебный процесс специально для того, чтобы их расстрелять. Это просто неумно! Как будто мы не можем расстрелять их без всякого суда, если сочтем нужным. Они забывают три вещи.

Первое – судебный процесс направлен не против них, а против Троцкого, заклятого врага нашей партии;

Второе – если мы их не расстреляли, когда они активно боролись против ЦК, то почему мы должны расстрелять их после того, как они помогут ЦК в его борьбе против Троцкого?

Третье – товарищи также забывают (Миронов особо подчеркнул то обстоятельство, что Сталин назвал Зиновьева и Каменева товарищами), что мы, большевики, являемся учениками и последователями Ленина и что мы не хотим проливать кровь старых партийцев, какие бы тяжкие грехи по отношению к партии за ними ни числились».

Последние слова, добавил Миронов, были произнесены Сталиным с глубоким чувством и прозвучали искренне и убедительно.

«Зиновьев и Каменев, – продолжал Миронов свой рассказ, – обменялись многозначительными взглядами. Затем Каменев встал и от имени их обоих заявил, что они согласны предстать перед судом, если им обещают, что никого из старых

большевиков не ждет расстрел, что их семьи не будут подвергаться преследованиям и что впредь за прошлое участие в оппозиции не будут выноситься смертные приговоры. – Это само собой понятно, – отозвался Сталин».

* * *

Физические страдания Зиновьева и Каменева закончились. Их немедленно перевели в большие и прохладные камеры, дали возможность пользоваться душем, выдали чистое белье, разрешили книги (но, однако же, не газеты). Врач, выделенный специально для Зиновьева, всерьез принялся за его лечение. Ягода распорядился перевести обоих на полноценную диету и вообще сделать все возможное, чтобы они на суде выглядели не слишком изнуренными. Тюремные охранники получили указание обращаться с обоими вежливо и предупредительно. Суровая тюрьма обернулась для Зиновьева и Каменева чем-то вроде санатория.

После того как они побывали в Кремле, Ежов потребовал, чтобы они собственноручно написали конспиративные указания своим приспешникам, пометив их задним числом: прокурору на суде понадобятся вещественные доказательства существования заговора. Но Зиновьев и Каменев категорически отказались изготавливать эти вещественные доказательства, в которых так нуждались сталинские фальсификаторы. Они заявили, что ограничатся исполнением тех обязательств, какие приняли на себя в Кремле.

Между тем не только обвиняемые, но и Ягода и его помощники с облегчением восприняли слова Сталина, из которых можно было понять, что никто из старых большевиков не будет расстрелян. В начале подготовки процесса руководство НКВД не могло себе представить, что Сталин способен физически уничтожить ближайших соратников Ленина. Все думали, что его единственная цель – разбить их в политическом смысле и принудить к ложным показаниям, направленным против Троцкого. Однако по мере того как шло следствие, появились серьезные сомнения насчет истинных намерений Сталина.

Когда руководители НКВД видели, с какой злобой Сталин воспринимает доклады о том, что те или иные старые партийцы отказываются капитулировать, с какой нескрываемой ненавистью он говорит о Зиновьеве, Каменеве и Смирнове, – напрашивался вывод, что про себя Сталин уже решил уничтожить старую ленинскую гвардию. Хотя верхушка НКВД связала свою судьбу со

Сталиным и его политикой, имена Зиновьева, Каменева, Смирнова и в особенности Троцкого по-прежнему обладали для них магической силой. Одно дело было угрожать старым большевикам по приказу Сталина смертной казнью, зная, что это всего лишь угроза, и не более; но совсем другое дело— реально опасаться того, что Сталин, движимый неутолимой жаждой мести, действительно убьет бывших партийных вождей.

Обещание Сталина сохранить им жизнь положило этим опасениям конец.

ПЕРВЫЙ ПРОЦЕСС

Сначала Сталин замышлял устроить первый из московских процессов так, чтобы на нем было представлено самое меньшее пятьдесят обвиняемых. Но по мере того как продвигалось «следствие», это число не раз пересматривалось в сторону уменьшения. Наконец остановились на шестнадцати подсудимых. Пришлось оставить только тех, в отношении кого не было сомнений, что на суде они повторят все то, что подписали на допросах.

Пятеро из этих шестнадцати были прямыми помощниками НКВД в подготовке судебного спектакля. К ним относились трое тайных агентов – Ольберг, Фриц Давид и Берман-Юрин, а также Рейнгольд и Пикель, рассматривавшиеся «органами» не как действительные обвиняемые, а как исполнители секретных указаний ЦК.

Последняя неделя перед судом ушла на то, чтобы еще раз подробно проинструктировать обвиняемых: под руководством Вышинского и следователей НКВД они вновь и вновь репетировали свои роли.

Проблема выбора подходящего помещения для открытого судебного процесса представлялась настолько важной, что Сталин созвал специальное совещание для обсуждения этого вопроса. Из нескольких помещений, предложенных Ягодой, Сталин выбрал самое маленькое – так называемый Октябрьский зал Дома Союзов, где было всего 350 мест, хотя в том же здании был знаменитый Колонный зал, способный вместить несколько тысяч. Вдобавок Сталин приказал Ягоде заполнить зал суда исключительно сотрудниками НКВД и не допускать проникновения «посторонних», хотя бы то были члены ЦК и правительства. Таким образом НКВД обеспечил суд не только обвиняемыми, но и публикой.

В зале сидели архивные работники, секретари, машинистки, шифровальщики. Они получали пропуска, действительные только на полдня, и присутствовали на суде посменно. Каждый знал номер своего места, каждый был одет в штатский костюм. Появляться на суде в военной форме было разрешено только руководителям НКВД.

Высшие сановники из ЦК и правительства, обычно получавшие от НКВД пропуска на съезды, военные парады и прочие торжества, засыпали НКВД по телефону требованиями выслать им пропуск на судебный процесс. Им отказывали под предлогом, что число мест в зале суда очень невелико и все

пропуска уже распределены.

Несмотря на то что обвиняемые обещали в точности выполнить данные ими обязательства, Сталин все же опасался: вдруг кто-то из старых большевиков, не сдержавшись, выскажет на суде всю правду. Именно поэтому он не разрешил присутствовать в зале даже самым надежным партийцам. Аполитичные машинистки и шифровальщики из НКВД были сочтены наиболее подходящей аудиторией – за долгие годы работы в «органах» они научились держать язык за зубами.

В зале не было ни одного родственника подсудимых. Сталин был далек от сентиментальности буржуазных судов и рассматривал близких обвиняемого лишь как заложников.

Страх, что кто-либо из подсудимых вдруг сделает попытку разоблачить фальсификацию, был так велик, что, не довольствуясь тщательным отбором публики, организаторы процесса разработали дополнительные меры, позволявшие незамедлительно заткнуть рот любому взбунтовавшемуся участнику спектакля.

В зале суда там и сям были рассажены группы сотрудников НКВД, прошедшие специальную тренировку. При первых признаках опасности, по сигналу обвинителя, они были готовы вскочить с мест и громкими криками заглушить слова подсудимого. Такое поведение «зала» должно было послужить председательствующему предлогом, чтобы прервать судебное заседание для «восстановления тишины и порядка». Само собой разумеется, что «бунтовщик» никогда больше не появится в зале суда.

Последним штрихом, завершающим следственную подготовку к процессу, была ободряющая беседа, которую Ягода и Ежов провели с главными обвиняемыми – Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым, Бакаевым, Мрачковским и Тер-Ваганяном. Ежов от имени Сталина еще раз заверил их, что если они будут соблюдать на процессе данные ими обязательства, то все, что им обещали, будет скрупулезно выполнено. Он предостерег своих «собеседников», чтобы они не пытались даже исподтишка протаскивать на суде свою политическую линию. Ежов предупредил также, что Политбюро считает их связанными общей ответственностью: если кто-то из них «совершит вероломство», это будет рассматриваться как организованное неповиновение всех.

Судебный процесс начался 19 августа 1936 года. Председательствовал на нем Василий Ульрих, бывший сотрудник отдела контрразведки ВЧК. Судьи и секретариат разместились в дальнем конце зала, лицом к публике. Присяжные отсутствовали. Сталинский режим, «самый демократический в мире», не решался доверить отправлению правосудия представителям народа.

У правой стены, боком к аудитории, были усажены обвиняемые. Они сидели на стульях, поставленных в четыре ряда, за низким деревянным барьером. Охрану несли трое бойцов из состава войск НКВД, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Напротив, у левой стены, занял свое место за небольшим столом государственный обвинитель Вышинский. За спиной подсудимых, в самом углу зала, виднелась скромная дверь. Она вела в узкий коридор с несколькими небольшими комнатами, в одной из которых был устроен буфет с отборными закусками и прохладительными напитками. Сидя в этой комнате, Ягода и его помощники могли слушать показания подсудимых, для чего тут был специально смонтирован радиодинамик. Остальные комнаты предназначались для охраны и для подсудимых. В перерывах между утренними и вечерними заседаниями суда государственный обвинитель должен был встречаться здесь с ними, давая дополнительные инструкции и напоминая о судебных правилах. Здесь же они могли принимать пищу и отдыхать.

Подсудимые выглядели менее измотанными, чем в следовательских кабинетах. За последнюю пару недель они несколько прибавили в весе и им была дана возможность выпастись. Тем не менее, землистые лица и темные круги под глазами ясно говорили о том, что им пришлось перенести.

Впрочем, несколько человек на той же скамье подсудимых отличались вполне здоровой внешностью, что особенно бросалось в глаза в сочетании с их непринужденной манерой держаться, резко контрастировавшей с вялостью и скованностью или, напротив, нервной развязностью остальных. Опытный глаз, таким образом, сразу отличал настоящих подсудимых от фиктивных.

Среди этих последних выделялся Исаак Рейнгольд. Холеное лицо, пышущее здоровьем, и элегантный костюм делали его похожим на актера – любимца публики. Заняв место с краю второго ряда, сразу у барьера, он сидел с таким выражением, словно оказался в трамвае, в обществе случайных пассажиров. Не спуская глаз с государственного обвинителя, он всем своим видом выражал готовность по первому знаку вскочить и прийти ему на помощь. Неподалеку от него сидел тайный агент НКВД Валентин Ольберг, пришибленный своим неожиданным

соседством с Зиновьевым и Каменевым и укладкой поглядывавший на них со смешанным выражением страха и почтения. Фриц Давид и Берман-Юрин, секретные представители НКВД в германской компартии, с деловым видом просматривали свои записи, откровенно готовясь к моменту, когда государственный обвинитель предоставит им возможность исполнить свой партийный долг. Из пятерых фиктивных обвиняемых только один Пикель сидел с апатичным и грустным видом.

Наиболее измотанным выглядел Зиновьев. Его одутловатое лицо с мешками, набрякшими под глазами, было нездорового, серого цвета. Он страдал астмой и, задыхаясь, время от времени начинал хватать воздух широко открытым ртом. Опустившись на свое место, он сразу отстегнул и снял воротничок рубашки и так без воротничка просидел все дни, пока длился суд. Он то и дело вглядывался в публику – по-видимому, его удивляло, что на таком судебном процессе не присутствует никто из видных партийцев или крупных государственных деятелей, среди которых он многих знал. Это обстоятельство должно было казаться еще более странным Каменеву, который много лет подряд был председателем Моссовета и лично знал всех сколько-нибудь выдающихся москвичей. Безусловно, оба они поняли, из кого состоит эта аудитория. Им обоим должно было стать ясно, что их привели не в суд, а всего лишь перевели из одного отдела НКВД в другой, из этого зала не сможет донестись наружу, во внешний мир, никакой голос протеста.

* * *

Председательствующий Ульрих начал первое заседание суда с формального установления личности обвиняемых. Затем он объявил, что подсудимые отказались от защитников и поэтому им будет предоставлена возможность самим осуществить свою защиту.

Кому-нибудь может показаться странным, почему вдруг все шестнадцать обвиняемых, зная, что на карту поставлены их жизни, не пожелали прибегнуть к помощи защитников, которые обязаны были попытаться хоть как-то помочь им. Однако этот феномен имеет свое объяснение, притом совсем простое: перед началом суда обвиняемым пришлось дать обещание, что они все как один откажутся от адвокатов. Мало того, они пообещали, что и сами, в свою очередь, даже пальцем не шевельнут, чтобы защитить самих себя. И действительно, когда их спросили, что

они могут сказать в свою защиту, все единогласно заявили, что сказать им нечего.

После чтения обвинительного заключения государственный обвинитель начал допрос подсудимых. На протяжении трех дней они рассказывали суду о террористических планах, которые они якобы вынашивали годами, однако ни государственный обвинитель, ни они сами не смогли привести ни одного примера, который свидетельствовал бы о начале исполнения этих планов, если не считать убийства Кирова, организованного, как мы знаем, самим Сталиным с помощью Ягоды и Запорожца.

В дальнейшем Сталин приписал убийство Кирова совсем другим группам старых большевиков, которые предстали перед судом на последующих московских процессах – в 1937 и 1938 годах. В общем, он использовал кировское дело точно крапленую карту, не знающую износа, в своей долгой и бесчестной игре.

Хотя государственный обвинитель не смог представить Зиновьеву, Каменеву и другим старым большевикам никаких доказательств их участия в убийстве Кирова, они один за другим признали себя виновными в этом преступлении. Только Смирнов отвечал на вопросы обвинителя с такой иронией, что не оставалось и малейших сомнений, что он считает все эти обвинения фальшивкой. Его саркастические замечания и неоднократные намеки, что вся эта история о заговоре является сплошным вымыслом, заставляли Вышинского сильно нервничать. Прежде чем уступить государственному обвинителю по какому-нибудь конкретному пункту, Смирнов взял за правило подвергать сомнению обвинение в целом и только потом, отвечая на конкретный вопрос, снисходительно соглашаться: «Ну пусть будет так...»

Эта саркастическая манера, в какую Смирнов облакал свои «признания», была особо подчеркнута Вышинским в его обвинительной речи:

– Самым закоснелым в своем упорстве является Смирнов, – заявил Вышинский. – Он признал себя виновным только в том, что являлся руководителем троцкистского контрреволюционного подполья. Правда, признание это он сделал с какой-то игривой веселостью.

Когда Мрачковский, Дрейцер и Тер-Ваганян поддерживали утверждение Вышинского, что Смирнов был их руководителем по подпольному «центру», Смирнов ответил им так, что даже хорошо обученная аудитория не могла удержаться от смеха. Обернувшись к Мрачковскому и Дрейцеру, Смирнов сказал: «Вам нужен вождь? Ладно, берите меня!»

Невзирая на то, что подсудимые полностью выполнили

обязательства, данные следствию, Вышинский подчеркнул, что они в ряде случаев «не сказали всего», правда, не объясняя, что конкретно они утаили от суда. С другой стороны, Вышинский остался вполне доволен показаниями пяти мнимых обвиняемых – Рейнгольда, Пикеля, Ольберга, Фрица Давида и Берман-Юрина. Он похвалил, в частности, Рейнгольда и Пикеля, побуждая их тем самым к еще более яростным нападкам на остальных подсудимых. Вышинский как будто не замечал, что в своей роли обвиняемого Рейнгольд уж слишком старается и переигрывает.

– Товарищи судьи, – говорил Вышинский, – вам нетрудно понять искренность в поведении Рейнгольда и Пикеля, которые на этом суде вновь и вновь изобличают Зиновьева, Каменева и Евдокимова как виновников совершения многих тяжких преступлений.

Рейнгольд более чем заслужил похвалу обвинителя. Подыгрывая Вышинскому на протяжении всего процесса, он продемонстрировал незаурядный обличительный пафос и блестящую память. Всякий раз, когда он усматривал в показаниях того или иного подсудимого малейшее отклонение от заранее согласованного сценария, он порывался вскочить со стула, чтобы внести поправку, словно бы его товарищ по несчастью сознательно пытался что-то утаить от суда. Когда Рейнгольд замечал, что в чем-то путается государственный обвинитель, он тоже начинал вертеться, как на углях, и почтительно просил разрешения «дополнить» то, что только что сказал Вышинский. А тот снисходительно, с милостивой улыбкой на устах, выжидал, пока Рейнгольд его поправит.

Пикель, как эхо, повторял каждое слово Рейнгольда, но делал это как-то безучастно, без того лицемерного негодования и пафоса, которым так выделялся Рейнгольд.

Для Вышинского не составляло труда состряпать свою громовую обвинительную речь, обличавшую подсудимых, которые не только не оказали ему сопротивления, а, напротив, сделали все, чтобы поддержать выдвинутые против них обвинения. Приписывая им самые чудовищные преступления, он не принимал во внимание даже то очевидное для всех обстоятельство, что некоторые из обвиняемых были физически не в состоянии совершить эти преступления, поскольку находились в то время либо в тюрьме, либо в отдаленной ссылке. «Я требую, – прокричал Вышинский, заканчивая свою речь, – чтобы эти бешеные псы были расстреляны, все до одного!»

Утром 22 августа, на четвертый день процесса, каждый из подсудимых представил Молчанову проект своего «последнего слова». Эти проекты пошли на проверку к Ежову, который исключил из них в первую очередь все упоминания подсудимых об их близости к Ленину и об их заслугах перед революцией. Организаторы процесса не желали, чтобы старые большевики говорили на суде о своем доблестном прошлом, на фоне которого особенно давал себя знать фантастический характер нынешних обвинений. Вот почему в опубликованных материалах процесса не встречается упоминаний о том, что подсудимые в свое время участвовали в создании партии, Советского государства, что они были в числе руководителей Октябрьской революции. Не упоминается даже о том, какие официальные должности занимали эти люди в годы Советской власти, – в обвинительном заключении и в приговоре суда вместо этого каждая фамилия сопровождается безликим словечком «служащий».

«Последние слова» подсудимых являются едва ли не самой драматичной частью всего процесса. В надежде уберечь от сталинского мщения свои семьи и тысячи своих сторонников они достигают здесь крайних пределов самоуничтожения. Зная коварство Сталина, они стараются даже перевыполнить обязательства, выжатые из них на следствии, – лишь бы не дать Сталину хоть малейшего повода нарушить его собственное обещание. Они клеймят себя как беспринципных бандитов и фашистов и тут же восхваляют Сталина, которого в душе считают узурпатором и изменником делу революции.

Первым выступил со своим «последним словом» Мрачковский. Вопреки предупреждению не упоминать на суде о своем революционном прошлом, он не смог сдержаться и начал с краткого изложения своей биографии. Ему нечего было стыдиться своего прошлого. Даже его дед был революционером–организатором знаменитого Южно-русского рабочего союза; отец и мать Мрачковского, оба заводские рабочие, отбывали в царское время тюремное заключение за революционную деятельность, а сам он был впервые арестован за распространение революционных листовок в возрасте тринадцати лет.

– А здесь, – с горькой иронией воскликнул Мрачковский, – я стою перед вами как контрреволюционер!

Судьи и прокурор обменялись тревожными взглядами и настороженно уставились на Мрачковского. Вышинский даже привстал, готовясь подать условный сигнал, который вызовет в зале заранее отрепетированный шум и крики и позволит лишить Мрачковского слова. Из глаз подсудимого брызнули слезы отчаяния. Не владея собой, Мрачковский со всего размаху ударил

кулаком по барьеру, отгораживающему скамью подсудимых. Физическая боль помогла ему справиться с душевной слабостью и вновь овладеть собой.

Он объяснил, что упомянул о своем прошлом, о своих прежних революционных заслугах не для того, чтобы защитить себя, а чтобы всем стало ясно, что не только царский генерал, князь или дворянин может сделаться контрреволюционером, но и человек пролетарского происхождения, вроде него, если только хоть на йоту отклонится от генеральной линии партии.

Помню, что после этой фразы Мрачковского председательствующий Ульрих послал Вышинскому довольную улыбку, и тот, заметно успокоившись, опустил на стул.

С этого момента Мрачковский уже не отклонялся, от утвержденного текста. Он обвинял во всем Троцкого и оправдывал карательные меры, обрушенные Центральным комитетом партии на оппозицию.

Приближаясь к концу своего «последнего слова», Мрачковский окончательно распластался перед Сталиным: неожиданно для всех, в каком-то мазохистском возбуждении от случившегося с ним несчастья, он истерически выкрикнул: «Мы его вовремя не послушали – и он дал нам хороший урок! Какой он нам дал нагоняй!»

Мрачковский пустил в ход свой последний козырь – единственный, что еще оставался у него. Он показал, что и в эту минуту все еще надеялся заслужить благосклонность Сталина.

Он хорошо знал, что ничем нельзя так угодить Сталину, как немудреным комплиментом: Сталин, дескать, искусно расправляется со своими противниками. Надеясь, что на сей раз он выполнит свое обещание и не расстреляет его, Мрачковский в своем «последнем слове» не просил снисхождения, а, напротив, закончил так: «Я поступал, как изменник делу партии, и как изменник заслуживаю расстрела!»

* * *

Каменев в своем последнем слове повторил, что он признает все выдвинутые против него обвинения. Вместо того чтобы сказать хоть что-нибудь в свою защиту, он пытался доказывать, что не заслуживает снисхождения. Кончив говорить и сев на место, он неожиданно поднялся вновь:

– Я хотел бы сказать несколько слов своим детям... У меня нет другой возможности обратиться к ним. У меня двое детей: один – военный летчик, другой – пионер. Стоя, быть может, одной

ногой в могиле, я хочу им сказать: каким бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не оглядывайтесь назад. Идите вперед. Вместе с советским народом следуйте за Сталиным.

Он снова сел, прикрыв глаза рукой. Все присутствующие были потрясены, и даже лица судей на миг утратили привычное выражение каменного безразличия.

Настала очередь говорить Зиновьеву. Трудно было узнать в нем прежнего блестящего оратора, так завораживавшего, бывало, слушателей на партийных съездах и конгрессах Коминтерна. Тяжело дыша, он начал говорить неуверенно и без всякого выражения. На аудиторию он не смотрел и не искал контакта с нею, как привык за долгие годы. Но прошло несколько минут – и, казалось, он обрел самообладание, его речь полилась плавно. Стоя у барьера и читая слова, написанные для него сталинскими инквизиторами, он напоминал первоклассного актера, имитирующего ораторскую манеру прежнего Зиновьева, чтобы лучше вжиться в роль старого заслуженного большевика – в роль, согласно которой все зиновьевское революционное прошлое было мифом, потому что в действительности Зиновьев всегда являлся врагом социализма и предателем.

Последнее его слово было составлено по тому же шаблону, что и у Каменева. Он тоже защищал не себя, а партию и Сталина. Закончил он маловразумительной фразой, явственно отдающей неуклюжим теоретизированием в сталинской манере: «Мой извращенный большевизм превратился в антибольшевизм, и через троцкизм я пришел к фашизму. Троцкизм – это разновидность фашизма, а зиновьевизм – это разновидность троцкизма...»

Рейнгольд, Пикель и три тайных агента НКВД – Ольберг, Фриц Давид и Берман-Юрин – также произнесли каждый свое «последнее слово». Все они, за исключением Ольберга, заверили суд, что считают для себя невозможным просить о снисхождении. Как и подобает фиктивным обвиняемым, они были уверены, что их жизням ничто не угрожает.

23 августа, в 7 часов 30 минут вечера, судьи удалились в совещательную комнату. Вскоре к ним присоединился Ягода. Текст приговора был заготовлен заранее; на его переписку требовалось часа два, не более. Однако судьи оставались в совещательной комнате целых семь часов. В 2 часа 30 минут ночи, то есть, значит, уже 24 августа, они вновь заняли места за судейским столом. В мертвой тишине председательствующий Ульрих начал чтение приговора. Когда через четверть часа монотонного чтения он дошел до его заключительной части,

определявшей меру наказания подсудимым, во всех концах зала слышалось нервное покашливание. Выждав, пока восстановится тишина, председательствующий перечислил одного за другим всех обвиняемых и после долгой паузы закончил объявлением, что все они приговариваются к высшей мере наказания – смертной казни «через расстрел».

Сотрудники НКВД, которым был хорошо известен порядок проведения политических процессов, ожидали, что вслед за тем председательствующий произнесет обычную в таких случаях формулу; «Однако, принимая во внимание прежние революционные заслуги подсудимых, суд считает возможным не применять к ним смертную казнь, а заменить ее...»

Но этой привычной формулы не последовало. Каким бы чудовищным ни казался такой исход дела, смертный приговор был финалом процесса. Присутствующие осознали это тогда, когда Ульрих не спеша начал засовывать бумагу, которую только что читал, в папку, лежавшую перед ним на столе.

В это мгновение тишину судебного зала прорезал истерический крик, почти визг: «Да здравствует дело Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина!» Кричал подсудимый Лурье – маленький человечек с взлохмаченной, непослушной шевелюрой, из-под которой угольками сверкали черные глаза.

По советским законам, лицам, приговоренным к смертной казни, предоставляется 72 часа для подачи просьбы о помиловании. Как правило, смертный приговор не приводится в исполнение, пока этот срок не истечет, даже если в помиловании успели отказать до его окончания. Но в данном случае Сталин пренебрег этим правилом. Утром 25 августа, спустя сутки после оглашения приговора, московские газеты вышли уже с официальным сообщением о том, что приговор приведен в исполнение. Все шестнадцать подсудимых были расстреляны.

ВТОРОЙ ПРОЦЕСС

Итак, вопреки ожиданиям следователей НКВД, Сталин не довольствовался унижениями, каким подверглись на суде старые большевики, не отослал их обратно в тюрьмы и лагеря, сохранив жизнь. Не будет преувеличением сказать, что сотрудники НКВД были также поражены казнью подсудимых, как и все остальные граждане Советской страны.

Только инквизиторы вроде Чертока и Южного ходили с надменным видом героев, выполнивших свой гражданский долг. Остальные выглядели подавленными и избегали разговоров о состоявшемся процессе. Многие заказали железнодорожные билеты, стремясь поскорее отбыть в давно обещанный им отпуск. Однако их ожидало разочарование. В конце августа их созвали в Секретное политическое управление, где Молчанов ошеломил всех неожиданным объявлением: «В этом году вам придется забыть об отпуске. Расследование не закончено: оно только началось!»

Молчанов сообщил собравшимся, что Политбюро доверило им подготовку второго судебного процесса, обвиняемыми на котором будут Радек, Серебряков, Сокольников и другие. Никто из следователей не посмел уклониться от нового задания, исходившего от Сталина. Правда, некоторые начали жаловаться, что их совершенно вымотали многомесячные интенсивные допросы обвиняемых и бессонные ночи, так что у них просто нет сил для ведения следствия по новому делу. Однако подобные жалобы никто не принял во внимание.

Кое-кто из следователей сделал попытку уклониться от нового задания, срочно обратившись в медицинскую часть НКВД с жалобами на действительные и вымышленные недомогания, в расчете получить бюллетень. Но эта лазейка скоро была прикрыта.

В НКВД развернулась подготовка второго судебного процесса, на котором должна была фигурировать новая группа ленинских соратников.

А пока что Сталин, не моргнув глазом, совершил еще один акт произвола. 1 сентября все того же 1936 года он вызвал Ягоду и отдал распоряжение, которое заставило содрогнуться даже самых бездушных энкавэдистов.

Прошло всего шесть дней после расстрела старых большевиков, которым Сталин, как мы помним, обещал сохранить жизнь. То же обещание он дал в отношении их сторонников, в прошлом участвовавших в оппозиции, а ныне отбывавших

заклучение в тюрьмах и лагерях. Теперь он велел Ягоде и Ежову отобрать из числа этих заключенных пять тысяч человек, отличавшихся в свое время наиболее активным участием в оппозиции, и тайно расстрелять их всех.

В истории СССР это был первый случай, когда массовая смертная казнь, причем даже без предъявления формальных обвинений, была применена к коммунистам. В дальнейшем, летом 1937 года, когда наркомом внутренних дел был уже Ежов, Сталин приказал ему подготовить второй список на пять тысяч других участников оппозиции, которые точно так же были расстреляны в массовом порядке. Не могу сказать, сколько раз повторялись такие акции, – вероятно, до тех пор, пока бывшая оппозиция не была уничтожена до последнего человека.

* * *

В конце 1936 года я уехал в Испанию, куда меня направили советником республиканского правительства. Находясь в Испании, я не мог непосредственно наблюдать, как шла подготовка второго и третьего судебных процессов, где подсудимыми являлись, как и на первом процессе, старые большевики. Однако множество закулисных историй, связанных с этими процессами, дошло до меня через хорошо информированных сотрудников НКВД, которые выезжали по делам службы в Испанию и Францию.

Бывших партийных лидеров, фигурировавших на первом процессе, Сталин обвинил, как помнит читатель, только в террористической деятельности. Тогда ему казалось, что вполне достаточно одного этого обвинения. Во-первых, такое преступление, как террористический заговор против руководителей партии и правительства, вполне оправдывало вынесение смертных приговоров. Во-вторых, Сталин рассчитывал, что подобное обвинение будет выглядеть вполне правдоподобным и мировая общественность не усмотрит ничего невероятного в том, что политические лидеры, потерпев поражение, решились на такую крайнюю меру, чтобы вернуть власть, вырванную у них из рук.

Точно такими же рассуждениями Сталин руководствовался, планируя второй судебный процесс. В самом конце августа 1936 года следователи НКВД получили предписание добиться от Радека, Серебрякова, Сокольников и ряда других арестованных признания, что они входили в так называемый «параллельный центр». Последний, все по той же сталинской версии, должен был

начать террористическую деятельность, если б участники «троцкистско-зиновьевского террористического центра» во главе с Зиновьевым и Каменевым оказались арестованными, не успев реализовать свои преступные замыслы.

Такая версия позволяла следователям убедить своих подследственных, что они не будут расстреляны, поскольку в отличие от Зиновьева, Каменева и их товарищей по первому процессу они обвиняются не в подготовке каких-либо конкретных террористических актов, а только в принадлежности к бездействовавшему «параллельному центру».

Однако эту установку, данную следователям, в один прекрасный день пришлось круто изменить. Руководство НКВД распорядилось прервать следствие впредь до получения новых инструкций. Следователи не знали, что и думать. Быть может, увидев, с какой насмешкой и с каким отвращением мир отнесся к результатам первого из московских процессов, Сталин решил отказаться от подобных процессов? Однако спустя всего несколько дней следователи были созваны Молчановым на срочное совещание, где получили директиву, звучавшую бредом сумасшедшего: им было предписано добиваться от арестованных признаний, что они замыслили захватить власть с помощью двух иностранных держав – Германии и Японии – и реставрировать в СССР капитализм. Следователи не верили своим ушам. Если б не присутствие Ежова, который сидел как ни в чем не бывало, можно было бы сомневаться, не повредился ли Молчанов рассудком.

Из членов относительно невинного «параллельного центра» обвиняемые должны были превратиться в агентов фашистской Германии. Учитывая, в каком невыгодном положении теперь окажутся следователи в отношении своих подследственных, Молчанов велел им поменяться подследственными. Таким образом, каждый из арестованных попадет к новому следователю, не связанному теми разъяснениями или обещаниями, какие давал его предшественник.

Что же заставило Сталина так резко изменить первоначальную схему обвинений и приписать старым большевикам преступления, от которых за версту несло провокацией, настолько они были абсурдны?

Все произошло очень обыденно. Сталин вернулся в Москву из отпуска и получил донесение Ягоды, из которого сделал вывод, что только что закончившийся процесс принес ему больше вреда, чем пользы. Конечно, уничтожение Зиновьева, Каменева и Смирнова Сталин мог засчитать себе в актив. Но во всех других отношениях процесс выглядел сплошным провалом. Общественное мнение за рубежом отнеслось к нему как к

нелепому спектаклю и расценило его просто как акт мести Сталина своим политическим противникам. Постепенно на глазах всего мира выявились грубые юридические натяжки и подтасовки, из которых наиболее позорной была история с несуществующей копенгагенской гостиницей «Бристоль». Главное же, этот процесс даже у советских трудящихся вызвал растущее сочувствие к расстрелянным деятелям и даже сожаление, что этим старым революционерам не удалось свергнуть сталинскую тиранию. В донесении Ягоды было сказано, что на стенах некоторых московских заводов появились такие надписи: «Долой убийцу вождей Октября!», «Жаль, что не прикончили грузинского гада!»

Все это выглядело очень серьезно. К тому же Сталина беспокоило еще одно обстоятельство. Он знал, что со времен знаменитой террористической организации «Народная воля» идея революционного террора окружена в представлении русской молодежи неким ореолом героизма и мученичества за «правое дело». Выдумав легенду, будто старые большевики считали необходимым убить его, Сталина, он сам подал массам мысль о революционном терроре. Он позволил зародиться в головах людей опаснейшей мысли о том, что даже ближайшие соратники Ленина увидели в терроре единственную возможность избавить страну от сталинской деспотии. Так или иначе, Сталину меньше всего хотелось, чтобы трудящимся массам СССР казненные большевики представлялись в том же ореоле, каким история окружила героев-народовольцев.

* * *

Второй московский процесс, на котором оказалось семнадцать обвиняемых, состоялся в январе 1937 года. Главными фигурами среди обвиняемых были Пятаков, Серебряков, Радек и Сокольников.

Юрий Пятаков был одним из самых одаренных и самых уважаемых людей в большевистской партии. Когда произошла Октябрьская революция, ему было всего двадцать семь лет. Тем не менее за его плечами было уже двенадцать лет революционной деятельности. В 1918 году его старший брат Леонид, руководивший большевистским подпольем в Киеве, был схвачен гайдамаками и замучен. Именно после этого Юрий Пятаков попросил Ленина освободить его от обязанностей главного комиссара Государственного банка (эту должность он в то время занимал) и направить на Украину для участия в подпольной борьбе с Центральной Радой.

После того как на Украине победила революция, Пятаков сделался первым председателем украинского Совнаркома. В годы Гражданской войны он стал одним из выдающихся организаторов Красной Армии. Командовал 13-й, а затем 6-й армиями, а в дальнейшем был членом реввоенсовета 16-й армии, которая сражалась на польском фронте.

Но по-настоящему способности Пятакова проявились в области народнохозяйственного строительства. По окончании Гражданской войны, когда самой острой для страны проблемой стала нехватка топлива, Ленин дал ему задание добиться резкого увеличения угледобычи в Донбассе. Пятаков блестяще выполнил это задание.

О том, сколь высоко Ленин ценил Пятакова, можно видеть хотя бы по тому, что он упоминается в его знаменитом «завещании», где всего-то перечислено шесть фамилий наиболее крупных партийных деятелей. В этом документе, где Ленин предостерег партию против сталинского засилья, он охарактеризовал Пятакова и Бухарина так: «Это, по-моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил)», а в отношении Пятакова добавил: «Пятаков– человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством...»

Со времени написания ленинского «завещания» до того часа, когда Пятаков появился в качестве подсудимого на втором московском процессе, прошло тринадцать лет. За эти годы он сделался государственным деятелем самого высокого ранга. Достаточно сказать, что именно ему страна в первую очередь была обязана успешным выполнением первой и второй пятилеток. Он был выдающимся организатором производства.

В 1931 году Пятаков был назначен заместителем наркома тяжелой промышленности. Сталин держал его в «замах» лишь потому, что во второй половине 20-х годов Пятаков принимал активное участие в троцкистской оппозиции. В силу этого наркомом тяжелой промышленности чисто формально был Серго Орджоникидзе– человек, не получивший образования и слабо разбиравшийся в сложных финансово-экономических вопросах. Среди «командиров социалистической индустрии» и партийных деятелей было, однако, известно, что фактическим руководителем тяжелой промышленности и душой индустриализации является Пятаков. Орджоникидзе был достаточно умен, чтобы также признавать это. «Чего вы от меня хотите? – спрашивал он Пятакова. – Вы знаете, что я не инженер и не экономист. Если вам данный проект представляется хорошим, я под этим тоже подпишусь обеими руками и вместе с вами буду

борются за него на заседании Политбюро!»

Да и отношение Сталина к Пятакову было, во всяком случае, более дружелюбно, чем к другим бывшим вожакам оппозиции. Сталин нуждался в Пятакове для осуществления программы индустриализации, которая была фундаментом так называемой «генеральной линии партии». А если Сталин в ком-нибудь до зарезу нуждался, он не выказывал своего истинного отношения к такому человеку, а, напротив, старался всячески ублажить его – даже если знал, что, выжав из него все, кончит тем, что перережет ему горло.

Сталину было известно, что Пятаков, отличавшийся особым аскетизмом, занимает вместе с семьей две скромные комнатки в старом, запущенном доме в Гнездиновском переулке и что он вообще живет на свою зарплату, не пользуясь никакими привилегиями. И вот однажды (дело происходило в 1931 году), когда Пятаков и его жена находились на службе, по поручению Сталина в его квартиру явились сотрудники управления делами Совнаркома и перевезли его сына и все его скромное имущество в квартиру в новом доме – просторную и роскошно обставленную. Сталин всячески пытался приблизить к себе Пятакова, однако тот оставался равнодушным к сталинским заигрываниям. Пятаков порвал с оппозицией, но поносить своих вчерашних единомышленников и восхвалять Сталина упорно отказывался.

В разговорах с бывшими оппозиционерами Пятаков отвергал их упреки в том, что он переметнулся в сталинский лагерь, он говорил, что просто отошел от политики. «Меня теперь интересует только одна вещь, – сказал он как-то группе видных оппозиционеров, – я должен быть уверен, что в государственной казне достаточно денег!» (дело происходило в 1929 году, когда Пятаков был назначен председателем правления Госбанка). Сталину все это было известно. Из донесения НКВД знал он и о том, что в разговоре с группой друзей Пятаков однажды высказался так: «Я не могу отрицать, что Сталин является посредственностью и что он не тот человек, который должен бы стоять во главе партии; но обстановка такова, что, если мы будем продолжать упорствовать в оппозиции Сталину, нам в конце концов придется оказаться в еще худшем положении: наступит момент, когда мы будем вынуждены повиноваться какому-нибудь Кагановичу. А я лично никогда не соглашусь подчиняться Кагановичу!»

Таких оценок Сталин не прощал. Но он был терпелив и умел ждать. Ему приходилось запастись терпением на довольно длительное время, необходимое для индустриализации страны и подготовки кадров технических специалистов, которые были бы

способны продолжать промышленную гонку. Сталин ждал восемь лет. К концу 1936 года он приказал Ягоде арестовать Пятакова.

* * *

В деле Пятакова сотрудники НКВД, действуя с обычной для них бессовестной жестокостью, использовали против него жену и ближайшего друга. Этот метод вполне соответствовал сталинскому «стилю». Сделавшись после смерти Дзержинского фактическим руководителем НКВД, Сталин неоднократно внушал энкавэдистам, что на обвиняемых сильнее всего действуют показания, данные их родными и близкими друзьями. Читатель помнит дело Смирнова – против него выступили его жена (Сафонова) и его ближайший друг – Мрачковский. Особо ценились показания жены против мужа, сына против отца, брата против брата – не только потому, что это деморализовало арестованного и выбивало у него почву из-под ног. Сталин испытывал особое удовольствие от разрушения семьи политического противника и крушения его дружеских связей. Безусловно, он был непревзойденным мастером любых видов личной мести.

«Органам» удалось очень быстро сломить сопротивление жены Пятакова. Она знала об «исчезновении» детей обвиняемых по делу «троцкистско-зиновьевского террористического центра» и была раздавлена страхом за судьбу своего сына. Так вот, чтобы спасти ему жизнь, она согласилась давать любые показания против мужа. У Коли Москалева, секретаря Пятакова, была маленькая дочь. Если бы он продолжал оставаться тем полуграмотным и наивным крестьянином, каким он когда-то переступил порог кабинета Пятакова, – он, скорее всего, отказался бы клеветать на своего начальника и друга. Но теперь у него за плечами был солидный политический опыт. Общаясь с секретарями других членов правительства, он многое узнал о нравах, царящих в Политбюро, и о характере тех, в чьих руках находится ныне судьба народа. Он понимал, что раз уж Сталин решил участь Пятакова, НКВД будет выжимать из него, Москалева, необходимые показания. С другой стороны, все эти показания являются пустой формальностью, потому что приговор Пятакову Сталин вынес задолго до ареста и суда. При всем этом Москалев соблюдал осторожность. Он сказал Молчанову, что подпишет показания против Пятакова только в присутствии Агранова, которого знал лично (Агранов в то время был заместителем Ежова). Когда Агранов явился, Москалев предупредил его, что он решил дать показания против Пятакова,

подчиняясь партийной дисциплине, но сами эти показания представляют собой неправду.

Пятаков был исключительно принципиальным человеком и к тому же обладал проницательным умом и сильной волей, был бесстрашен. Я почти уверен, что если бы среди «второй волны» арестованных большевиков объявился человек, способный противостоять своим тюремщикам, то этим человеком был бы Пятаков. Поэтому меня очень удивило, что он сравнительно легко сдался. Как выяснилось, дело обстояло так.

В течение довольно длительного времени Пятаков вообще отказывался разговаривать со следователями. Однажды вечером в НКВД приехал Серго Орджоникидзе и выразил желание переговорить с Пятаковым. Ежова, к тому времени сменившего Ягоду, не было на месте. Его заместитель Агранов, поколебавшись, позвонил во внутреннюю тюрьму и приказал доставить Пятакова к нему. Орджоникидзе двинулся навстречу вошедшему Пятакову, явно желая обнять его. Пятаков уклонился и отвел его руки.

– Юрий! Я пришел к тебе как друг! – воскликнул Орджоникидзе. – Я выдержал из-за тебя целый бой и не перестану за тебя бороться! Я говорил про тебя ему...

После этого вступления Орджоникидзе попросил Агранова оставить его вдвоем с Пятаковым. Их разговор продолжался с глазу на глаз.

Вел ли Орджоникидзе коварную игру с Пятаковым под давлением Сталина или был искренен? Последующий ход событий должен был дать ответ на этот вопрос.

Я знал Орджоникидзе по совместной работе в Тифлисе, еще с 1926 года, когда я командовал погранвойсками Закавказья, а он был секретарем ЦК Закавказской федерации советских республик (ЗСФСР). Мне было нетрудно представить себе, как экспансивный Орджоникидзе, все более возбуждаясь и жестикулируя, рассказывает Пятакову, какой «бой» он выдержал из-за него, как упрашивал Сталина не вовлекать Пятакова в готовящийся процесс...

Спустя несколько дней Орджоникидзе снова появился в здании НКВД и опять был оставлен вдвоем с Пятаковым. На этот раз, перед тем как уйти, Орджоникидзе в присутствии Пятакова сообщил Агранову сталинское распоряжение: исключить из числа участников будущего процесса жену Пятакова и его личного секретаря Москалева. Их не следует вызывать в суд даже в качестве свидетелей. Стало яснее ясного, что самому Пятакову Орджоникидзе посоветовал уступить требованию Сталина и принять участие в жульническом судебном процессе – разумеется,

в качестве подсудимого. Но для меня оставалось несомненным, что Орджоникидзе при этом лично гарантировал Пятакову: смертный приговор ему вынесен не будет.

Поверил ли Пятаков Орджоникидзе? Я убежден, что поверил. Пятаков знал, что Орджоникидзе в отличие от Сталина был верен дружбе, по крайней мере, в тех случаях, когда друг не представлял собой соперника в борьбе за власть. Он также знал, что Орджоникидзе, образование которого исчерпывалось фельдшерскими курсами, не мог без его помощи руководить промышленностью. Уже хотя бы из чистого эгоизма Орджоникидзе должен был бороться за сохранение жизни Пятакова, обеспечивая себе советника и помощника на будущее. Едва ли Пятаков догадывался, что Орджоникидзе, быть может, сам того не подозревая, выступал в провокационной роли сталинского ставленника. Он был одним из самых влиятельных членов Политбюро. Сталин мог требовать от него покорности при решении важных государственных вопросов, но едва ли мог принудить его играть презренную роль пешки-provокатора. В общем, Пятаков вполне мог думать, что его положение лучше, чем у других обвиняемых. Ведь ему протезировал сталинский близкий друг и земляк.

* * *

Итак, Пятаков, по-видимому, решил довериться Орджоникидзе. Он подписал ложное признание, в котором подтверждал, что, воспользовавшись поездкой в Берлин в декабре 1935 года, написал оттуда письмо Троцкому, находившемуся тогда в Норвегии. Пятаков якобы спрашивал директив Троцкого об оказании финансовой поддержки заговорщикам внутри СССР. Далее он подтвердил, что получил ответ Троцкого: тот якобы сообщал, что им достигнуто соглашение с германским, нацистским правительством. По этому соглашению немцы обязались вступить в войну с Советским Союзом и помочь Троцкому захватить власть в СССР. За это Троцкий обещал отдать немцам территорию Украины и предоставить ряд экономических уступок. В связи с этим соглашением Троцкий якобы требовал в письме к Пятакову, чтобы антисоветское подполье усилило свою вредительскую деятельность в промышленности.

Слушая на совещании в Кремле доклад о признаниях, сделанных Пятаковым, Сталин спросил: не лучше ли написать в обвинительном заключении, что Пятаков получил директивы Троцкого не по почте, а во время личной встречи с ним? Так

родилась легенда о том, как Пятаков летал в Норвегию на свидание с Троцким. Чтобы версия была более убедительной, Сталин распорядился: пусть начальник Иностранного управления НКВД Слуцкий разработает схему путешествия Пятакова из Берлина в Норвегию, с учетом расписания поездов Берлин – Осло.

Когда мы со Слуцким встретились в Париже, в санатории профессора Бержере (это произошло в феврале 1937 года), он рассказал мне, что случилось на следующем кремлевском совещании по делу Пятакова.

Слуцкий доложил Сталину, что собранные им данные не позволяют принять версию о личной поездке Пятакова в Норвегию. Дело в том, что по действующему расписанию путешествие Пятакова в Осло, учитывая время, необходимое, чтобы добраться из Осло в Вексаль, где жил Троцкий, и побеседовать с ним, займет минимум двое суток. Было бы очень опасно утверждать, что Пятаков исчезал из Берлина на столь продолжительное время: по данным советского торгпредства в Берлине, он ежедневно проводил там совещания с представителями различных немецких фирм и чуть ли не каждый день подписывал с ними контракты.

Сталин был недоволен докладом Слуцкого и, не дождавшись изложения всех минусов обсуждаемой легенды, возразил: «Может быть, то, что вы говорите насчет расписания поездов, действительно верно. Однако Пятаков мог ведь слетать в Осло и на самолете? Полет туда и обратно, наверное, можно совершить за одну ночь?»

Слуцкий заметил, что самолет (не забудем, что полет должен был относиться к 1935 году) берет очень мало пассажиров и фамилия каждого из них записывается в журнал авиакомпании. Но Сталин уже принял решение: «Надо указать, что Пятаков летал на специальном самолете. Для такого дела германские власти охотно дали бы самолет!»

Слуцкий, любивший хвастаться, что ему часто приходится разговаривать со Сталиным, рассказал мне об этом совещании под большим секретом. Впрочем, через несколько дней я узнал, что то же самое он рассказал резиденту НКВД во Франции, тоже под большим секретом, однако в присутствии еще одного сотрудника Иностранного управления.

Показания, подписанные Пятаковым, пришлось, соответственно, переписать, исключив из них письмо, якобы пришедшее от Троцкого. Версия насчет указаний, полученных от Троцкого, несколько усложнилась. Согласно новой версии, оглашенной на суде, в середине декабря 1935 года Пятаков приземлился на аэродроме под Осло и, пройдя официальную

проверку документов, отправился на машине к Троцкому, с которым и вел переговоры. Они обсуждали план свержения сталинского режима и захвата власти с помощью немецких штыков.

* * *

Горький опыт предыдущего процесса, когда была упомянута несуществующая гостиница «Бристоль», заставил организаторов нового процесса предостеречь Пятакова от «излишних подробностей». Пятаков не должен был говорить, под каким именем он совершил путешествие в Норвегию и получал ли он въездную визу. В остальном как будто было все в порядке: Пятаков вполне мог слетать за одну ночь в Осло и обратно, и самый придирчивый скептик не имел возможности проверить, действительно ли одиночный самолет появлялся над Норвегией под покровом декабрьской ночи.

И тем не менее Сталина ждал жестокий удар.

25 января 1937 года, всего через два дня после того, как Пятаков изложил суду всю эту историю, в норвежской газете «Афтенпостен» появилась такая заметка: «Совещание Пятакова с Троцким в Осло выглядит совершенно неправдоподобным... Он будто бы прибыл на самолете на аэродром Хеллер. Однако персонал этого аэродрома утверждает, что никакие гражданские самолеты в декабре 1935 года там не приземлялись...»

Это сообщение застало Сталина и его помощников врасплох. Надо было срочно что-то предпринять. Но что? Объявить, что самолет сел не на аэродром Хеллер, а на какой-нибудь другой? Однако было известно, что в окрестностях Осло только этот аэродром принимал гражданские самолеты. Внушить Пятакову, что он вообще не нуждался в аэродроме, а сел в пределах акватории ближайшего порта, тоже было поздно: ведь стартовал он якобы с берлинского сухопутного аэродрома Темпельгоф.

Чтобы как-то ослабить впечатление, произведенное заметкой в «Афтенпостен», Вышинский предъявил суду официальную справку консульского отдела народного комиссариата иностранных дел СССР, где говорилось: «... аэродром в Хеллере, около Осло, принимает круглый год, согласно международным правилам, аэропланы других стран, прилет и отлет аэропланов возможны и в зимние месяцы».

Таким образом, вместо того чтобы ответить на категорическое утверждение норвежской газеты, Вышинский наводит тень на ясный день и вводит в игру столь слабый козырь,

как констатацию возможности аэродрома в Хеллере вообще принимать самолеты зимой.

Вдобавок исходило это даже не от официальных норвежских властей, чья точка зрения могла бы считаться беспристрастной, и не от администрации аэродрома Хеллер, а всего лишь от консульского отдела народного комиссариата иностранных дел в Москве, выдавшего такую жалкую справку...

Как и следовало ожидать, на этом дело не кончилось. 29 января уже другая норвежская газета – «Арбейдербладет», орган правящей социал-демократической партии, – опубликовала еще одно сообщение:

«Сегодня, в ответ на запрос корреспондента газеты „Арбейдербладет“, управляющий аэродромом в Хеллере Гулликсен сообщил по телефону, что в декабре 1935 года там не приземлялись никакие иностранные самолеты».

Далее в том же сообщении говорилось, что, согласно официальному журналу полетов, за период между сентябрем 1935 года и 1 мая 1936 года на аэродроме в Хеллере совершил посадку один-единственный самолет.

Излишне добавлять, что это, конечно, не был самолет, доставивший Пятакова.

Сталин и Вышинский еще раз попались с поличным как фальсификаторы.

Не теряя времени, в спор включился Троцкий. Он через посредство мировой прессы предложил Вышинскому спросить Пятакова, какого числа тот вылетел из Берлина в Осло, получали ли он визу на право въезда в Норвегию и если получал, то на чье имя.

Троцкий просил московский суд использовать официальные каналы сношений с норвежским правительством для проверки правдивости показаний Пятакова.

«Если выяснится, – заявил Троцкий, – что Пятаков действительно побывал у меня, значит, я окажусь безнадежно скомпрометирован. Если же, напротив, я смогу доказать, что история нашей встречи вымышлена от начала до конца, – полной дискредитации подвергнется вся система „добровольных признаний“ обвиняемых. Показания Пятакова должны быть проверены немедленно, пока он еще не расстрелян».

Вышинский как прокурор обязан был проверить правдивость показаний Пятакова и без вмешательства Троцкого. Однако он не мог этого сделать: не для того готовил он вместе с другими судебный фарс, чтобы затем разоблачить его.

Когда Троцкий увидел, что организаторы судебного процесса не собираются что бы то ни было проверять и готовы продолжать

свое дело, не считаясь с общественным мнением, он решился на отчаянный шаг: бросил вызов Советскому правительству, написав в Москву, чтобы оттуда потребовали его выдачи Советскому Союзу для предания суду в качестве сообщника Пятакова и других обвиняемых.

Бросая такой вызов, Троцкий ставил на карту собственную жизнь. Правительство маленькой Норвегии едва ли смогло бы отклонить подобное требование своего могучего соседа, тем более Троцкий сам поднял вопрос о его выдаче. Но все дело в том, что Сталин боялся выдачи Троцкого, ибо знал, что, согласно закону, сначала норвежский суд должен будет проверить обвинения, выдвинутые против Троцкого, и досконально расследовать историю с полетом Пятакова в Осло, а может быть, заодно и скандальный эпизод, связанный с гостиницей «Бристоль». Сталин, разумеется, не мог допустить, чтобы его фальшивки были представлены на беспристрастный норвежский суд. Более выгодным было требовать не выдачи Троцкого Советскому Союзу, а подослать к нему тайных агентов, которые могли бы заставить его замолчать раз и навсегда.

Пятаков добросовестно выполнил свои обязательства. Болезненно переживая публичный позор и черня свое героическое прошлое, он надеялся ценой таких унижений спасти жизнь близким – жене и ребенку.

Ему, как и другим подсудимым, было предоставлено «последнее слово», прежде чем суд удалился на совещание для вынесения приговора. Из его краткого выступления мне врезались в память следующие слова, сказанные с трагической проникновенностью:

– Любое наказание, которое вынесет суд, – сказал Пятаков, – будет для меня легче самого факта признания... В ближайшие часы вы произнесете свой приговор; и вот я стою перед вами в грязи... потерявший свою партию, свою семью, самого себя.

30 января 1937 года военное ведомство Верховного суда приговорило тринадцать из семнадцати подсудимых к смертной казни. Все тринадцать, в том числе Пятаков, Серебряков и другие ближайшие сотрудники Ленина, были расстреляны в подвалах НКВД.

* * *

Спустя три недели после расстрела Пятакова газеты сообщили, что народный комиссар тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, которому было всего пятьдесят лет,

внезапно умер от сердечного приступа. Орджоникидзе похоронили с большими почестями. ЦК обязал партийные организации по всей стране провести траурные заседания и должным образом оплакать смерть «железного наркома, верного соратника товарища Сталина».

Прошло около двух месяцев, и в Испанию с дипломатической почтой прибыл новый дипкурьер, работавший до того в Специальном управлении НКВД, – здоровенный парень с нахальной физиономией и растрепанной копной рыжих волос. В Испании он повстречал старого приятеля, который был в моем подчинении. И вот как-то мой подчиненный зашел ко мне и с таинственным видом сообщил, что новый дипкурьер рассказывает какие-то странные истории. Например, будто Особое управление НКВД имеет сведения, что корреспондент «Правды» Михаил Кольцов, тоже находившийся в это время в Испании, «продался англичанам» и снабжает секретной информацией о Советском Союзе лорда Бивербрука. Или: будто бы Серго Орджоникидзе умер не своей смертью, а был ликвидирован.

Сплетня относительно Михаила Кольцова, моего близкого знакомого, очень не понравилась мне. Это, конечно, не значило, что я не верил сообщению, якобы НКВД имеет какие-то особые сведения о нем. НКВД – это нечто вроде гигантского почтового ящика, куда любая безответственная личность могла направить любые безответственные измышления. Что же касается слухов о будто бы насильственной смерти Орджоникидзе, то они мне показались обычной сплетней, хотя после того, что случилось с Кировым, казалось, я должен был больше доверять слухам такого рода. Однако в этот период (дело было весной 1937 года) Сталин еще не приступил к массовому уничтожению преданных ему сподвижников и трудно было вообразить, что он способен убить своего близкого друга – последнего остававшегося в Кремле человека, с которым он мог поговорить на родном грузинском языке.

В октябре 1937 года в Испанию наведалься Шпигельгласе, заместитель начальника Иностранного управления НКВД. Перед этим, летом, в Москве произошли сенсационные события. Начиная с мая среди самых верных сподвижников Сталина происходили все новые и совершенно необъяснимые аресты. Арестованные никогда не принимали участия ни в какой политической оппозиции. Не проходило дня, чтобы в Москве или других городах бесследно не пропали виднейшие деятели страны – наркомы, председатели верховных советов союзных республик, секретари обкомов партии, крупнейшие военачальники. Двое членов правительства, считавшиеся сталинскими фаворитами,

исчезли в Москве по дороге из дома на службу. Они сгинули вместе со своими автомобилями и личными шоферами. Тайные аресты начались даже среди руководителей НКВД!

Шпигельгласс был буквально напшигован подобными историями. Ему и самому позволили съездить за границу только потому, что в Москве у него оставались заложники – жена и дочь. Из его рассказов мне стало ясно, что он серьезно опасается за свою жизнь. Подобные рассказы мне приходилось слышать и раньше, но Шпигельгласс благодаря своему положению в НКВД знал больше других.

Судя по всему, Шпигельгласс завидовал мне – ведь я находился за границей вместе с семьей, вдали от разразившейся вакханалии арестов и казней. Много раз он признавался, что хотел бы получить назначение на работу в Испанию. Видя, что я никак не реагирую на эти намеки, он как-то раз прямо заявил, что не прочь бы стать моим заместителем, лишь бы только я согласился взять инициативу на себя и попросить Москву о его переводе сюда. Было совершенно ясно, что он смотрит на Испанию, охваченную гражданской войной, как на идеальное прибежище, где можно переждать бурю, бушующую в СССР.

Однажды, когда мы ехали с ним в машине из Валенсии в Барселону, он вновь заговорил о массовых арестах и рассказал, между прочим, о самоубийстве ряда видных сотрудников НКВД, которых мы оба хорошо знали. Он перечислял фамилии крупнейших деятелей, исчезнувших за последние месяцы, и неожиданно произнес: «Они прикончили также и Орджоникидзе!»

Услышав это, я вздрогнул. Хотя Шпигельгласс только подтвердил слух, дошедший к нам через дипкурьера, у меня невольно вырвалось: «Не может быть!»

– Это точно, – возразил Шпигельгласс. – Я знаю подробности этого дела. У Орджоникидзе тоже текла в жилах кавказская кровь – вот он и поссорился с хозяином. Нашла коса на камень. Все из-за Пятакова...

ЕЖОВСКАЯ ЧИСТКА НКВД

Если бы в ходе подготовки московских процессов руководители НКВД сделали попытку проанализировать директивы, получаемые от Сталина (не только с узкопрофессиональной, следовательской точки зрения, а с целью изучить характер сталинского мышления и его тайные планы), то они сделали бы такое удивительное для себя открытие: Сталин наметил уничтожить также их самих – как нежелательных свидетелей его преступлений и как своих прямых соучастников в подготовке фальсификаций, направленных против старой ленинской гвардии. Вот они, эти штрихи юридического сценария, которые, будучи зафиксированы в документах, вполне могли быть расшифрованы как сталинский план уничтожения верхушки НКВД.

Когда Миронов доложил Сталину показания Рейнгольда, направленные против Зиновьева и Каменева, Сталин приказал ему внести в эти признания такое дополнение: «Зиновьев к Каменев не исключали возможности, что ОГПУ держит в своих руках нити подготовляемого ими антигосударственного заговора. Поэтому они считали своей важнейшей задачей уничтожить (после захвата власти) все возможные следы совершенных преступлений.

Для этого было решено назначить председателем ОГПУ Бакаева. На него предполагалось возложить обязанности по физическому уничтожению тех лиц, которые непосредственно осуществляют террористические акты против Сталина и Кирова и равным образом по уничтожению тех сотрудников ОГПУ, кто был в курсе планируемых преступлений».

Руководители НКВД и следователи отлично знали, что Зиновьев с Каменевым никого не убивали и не собирались убивать. Так что из сталинского добавления к показаниям Рейнгольда они должны были бы сделать исключительно важный вывод, имевший первостепенное значение для них самих: согласно сталинской логике политические лидеры, которые в борьбе за власть организуют убийства своих соперников, должны принимать меры к уничтожению всех следов этих преступлений, не останавливаясь перед ликвидацией тех, кто по их указаниям осуществлял эти убийства. Неужели, записывая дополнение Сталина к показаниям Рейнгольда, Миронов не понял, что Сталин (это бывало с ним крайне редко) выразил здесь свой собственный тайный принцип?

Отлично зная, что не кто иной, как сам Сталин, организовал

судебные спектакли, верхушка НКВД должна была уяснить себе, что после уничтожения своих политических противников или соперников Сталин уничтожит также всех следователей НКВД, помогавших ему организовать московские процессы, да и вообще всех тех, кто знаком с кухней этих процессов.

Но увы! Эти люди, подобно охотничьим собакам, были так заняты преследованием дичи, что не обращали внимание на самого охотника. Не будучи в состоянии распознать коварный сталинский план, они лишили себя возможности обратить огромную мощь своего аппарата на спасение собственных жизней.

* * *

План физического уничтожения всех сотрудников НКВД, кто знал зловещую закулисную сторону московских процессов, был разработан Сталиным и Ежовым с тщательностью, достойной военной операции. Еще в октябре 1936 года сталинский фаворит Ежов был назначен наркомом внутренних дел вместо смещенного Ягоды. Те без малого три сотни «своих людей», что Ежов привел за собой из ЦК, были назначены помощниками начальников управлений НКВД в Москве и на периферии. Приток новых кадров официально объяснялся желанием Политбюро «поднять работу НКВД на еще более высокий (!) уровень». В действительности новые люди понадобились для того, чтобы в дальнейшем заменить прежних сотрудников НКВД, намеченных к ликвидации.

Несколько месяцев Ежов и руководящие кадры, оставшиеся после Ягоды, работали в кажущемся согласии. Ежову они все еще были необходимы— шла подготовка ко второму московскому процессу, требовалось обучать новых людей искусству ведения следствия.

К исполнению сталинского плана Ежов приступил уже после второго процесса. Перестраховываясь, уничтожали не только тех сотрудников НКВД, которые знали грязные сталинские секреты, но и тех, кто мог их знать. Происходило это так.

Однажды мартовским вечером 1937 года Ежов созвал совещание своих заместителей, занимающих эти должности со времен Ягоды, а также начальников основных управлений НКВД. Он сообщил, что по распоряжению ЦК каждому из них поручается выехать в определенную область для проверки политической надежности руководства соответствующих обкомов партии. Ежов снабдил их подробными инструкциями, раздал мандаты на бланках ЦК и приказал срочно отбыть к месту назначения. Только

четыре руководителя управлений НКВД не получили таких заданий. Это были начальник Иностранного управления Слуцкий, начальник погранвойск Фриновский, начальник личной охраны Сталина Паукер и начальник московского областного управления НКВД Станислав Реденс, женатый на свояченице Сталина (Аллилуевой).

На следующее утро все получившие мандаты отбыли из Москвы. Места назначения, указанного в этих мандатах, никто из них не достиг: все были тайно высажены из вагонов на первой же подмосковной станции и на машинах доставлены в одну из подмосковных тюрем. Через два дня Ежов проделал тот же трюк с заместителями «уехавших». Им перед отъездом сообщили, что они направляются для участия в выполнении того же задания.

Прошло несколько недель, прежде чем сотрудники НКВД узнали о безвозвратном исчезновении начальства. За этот срок Ежов сменил в НКВД охрану, а также всех командиров в энкавэдистских частях, размещенных в Москве и Подмосковье. Среди вновь назначенных командиров оказалось множество грузин, присланных из Закавказского НКВД.

Чтобы старые сотрудники НКВД не могли бежать за границу, Ежов изъясил из ведения Иностранного управления группу, ответственную за выдачу заграничных паспортов, и присоединил ее к собственному секретариату. Одновременно он сместил командиров авиаэскадрилий НКВД, лишив тем самым потерявших голову чекистов всякой возможности побега за границу на боевом самолете.

Опасаясь со стороны сотрудников НКВД безрассудных действий, продиктованных отчаянием, Ежов забаррикадировался в отдаленном крыле здания НКВД и окружил себя мощным контингентом личной охраны. Каждый, кто хотел попасть в его кабинет, должен был сначала подняться на лифте на пятый этаж и пройти длинными коридорами до определенной лестничной площадки, затем спуститься по лестнице на первый этаж, опять пройти по коридору к вспомогательному лифту, который и доставлял его в приемную Ежова, расположенную на третьем этаже. В этом лабиринте посетителю неоднократно преграждали путь охранники, проверявшие документы у любого посетителя, будь то сотрудник НКВД или посторонний, имеющий какое-либо дело к Ежову.

* * *

Осуществив все эти предупредительные мероприятия, Ежов

начал действовать более энергично. Пошли массовые аресты следователей, принимавших участие в подготовке московских процессов, и всех прочих лиц, которые знали или могли знать тайны сталинских фальсификаций. Их арестовывали одного за другим, днем – на службе, а ночью – в их квартирах. Когда в предрассветный час опергруппа явилась в квартиру Чертока (прославившегося свирепыми допросами Каменева), он крикнул: «Меня вы взять не сумеете!» – выскочил на балкон и прыгнул с двенадцатого этажа, разбившись насмерть.

Феликс Гурский, сотрудник Иностранного управления, за несколько недель перед этим награжденный орденом Красной Звезды «за самоотверженную работу», выбросился из окна своего кабинета на девятом этаже. Также поступили двое следователей Секретного политического управления. Сотрудники Иностранного управления, прибывшие в Испанию и Францию, рассказывали жуткие истории о том, как вооруженные оперативники прочесывают дома, заселенные семьями энкаведистов, и как в ответ на звонок в дверь в квартире раздается выстрел – очередная жертва пускает себе пулю в лоб. Инквизиторы НКВД, не так давно внушавшие ужас несчастным сталинским пленникам, ныне сами оказались захлестнутыми диким террором.

Комплекс зданий НКВД расположен в самом центре Москвы, и случаи, когда сотрудники НКВД выбрасывались с верхних этажей, происходили на виду у многочисленных прохожих. Слухи о самоубийствах энкаведистов начали гулять по Москве. Никто из населения не понимал, что происходит.

По делам арестованных сотрудников НКВД не велось никакого следствия, даже для видимости. Их целыми группами обвиняли в троцкизме и шпионаже и расстреливали без суда. Тем сотрудникам, кто был или считался польского происхождения, объявляли, что они польские шпионы, латышам – что они шпионы Латвии, русским – что они шпионы Германии, Англии или Франции.

Высокопоставленные сотрудники НКВД, приезжавшие во Францию и Испанию, рассказывали и о кошмарной судьбе детей расстрелянных чекистов. Когда родителей арестовывали и квартиры опечатывали, дети оказывались в буквальном смысле слова выброшенными на улицу. Друзья этих семей и даже близкие родственники не решались дать приют детям арестованных, опасаясь навлечь на себя серьезные неприятности. В школах и пионерских отрядах они не находили ни малейшей моральной поддержки. Их сверстники всячески изводили и били их как детей предателей и шпионов. При этом нередко случалось, что ученики, издевавшиеся над ними, за одну ночь сами

превращались в детей «врага народа», которым теперь предстояло хлебнуть горя.

Отношения между детьми в это смутное время отражали, как в зеркале, отношения взрослых. Отравленные сталинистскими изречениями о «притаившихся врагах народа», наученные педагогами принимать резолюции с требованием смертной казни для старых большевиков, школьники утрачивали черты, присущие детям, да и вообще всякое представление о человечности. Чувство дружбы вытеснялось из их детских душ подозрительностью и страстью всеобщего разоблачения, то есть доносительства.

В крупных городах появилось еще одно страшное знамение времени: случаи самоубийства подростков 10–25 лет. Мне рассказывали, например, такой случай. После расстрела группы сотрудников НКВД четверо их детей, оставшиеся сиротами, украли из квартиры другого энкавэдиста пистолет и отправились в Прозоровский лес под Москвой с намерением совершить самоубийство. Какому-то железнодорожнику, прибежавшему на пистолетные выстрелы и детские крики, удалось выбить пистолет из рук четырнадцатилетнего мальчика. Два других подростка лежали на земле – как выяснилось, тяжело раненные. Тринадцатилетняя девочка, сестра одного из раненых, рыдала, лежа ничком в траве. Рядом валялась записка, адресованная «дорогому вождю народа товарищу Сталину». В ней дети просили дорогого товарища Сталина найти и наказать тех, кто убил их отцов. «Наши родители были честными коммунистами, – следовало дальше. – Враги народа, подлые троцкисты, не могли им этого простить...» Откуда детям было знать, кто такие троцкисты!

Сталинский секретариат получал десятки таких писем. Отсюда они направлялись в НКВД с требованием убрать маленьких жалобщиков из Москвы. Здесь не должно было быть места детским слезам! Иностранные журналисты и гости из-за рубежа не должны были видеть эти массы выброшенных на улицу сирот.

Многие из осиротевших детей не ждали, когда их вышлют из Москвы. Столкнувшись в домах друзей своих родителей с равнодушием и страхом, они присоединились к тем, кто принял их в свою среду как равных, – к бездомным подросткам, жертвам более ранней «жатвы», которую принесла сталинская коллективизация. Банда беспризорных обычно забирала у новичка, в качестве вступительного взноса, часть его одежды, часы и другие ценные вещи и быстро обучала его своему ремеслу – воровству.

В это же самое время на митингах и в газетах до небес

превозносили «гуманизм сталинской эпохи». Крики обездоленных детей заглушались дифирамбами «сталинской заботе о людях» и «трогательной любви к детям».

* * *

В кошмарной атмосфере бессудных расстрелов и безотчетного ужаса, охватившего всю страну, энергично шла подготовка третьего московского процесса, на который надлежало вывести последнюю группу старых большевиков, сподвижников Ленина. Сталинские инквизиторы орудовали теперь более уверенно. Во-первых, их методы прошли успешную проверку на двух первых процессах. Во-вторых, психоз всеобщего страха, порожденный массовым террором этих лет, вооружил следователей дополнительными средствами воздействия на обвиняемых.

Теперь, когда требовалось сломить их волю, угрозы заметно преобладали над обещаниями. Если во время подготовки двух предыдущих процессов еще не все арестованные верили, что Сталин может привести в исполнение дикие угрозы, относящиеся к их детям, то теперь никто из обвиняемых не сомневался в серьезности таких угроз. Чтобы на этот счет не оставалось иллюзий, Ежов распорядился подсаживать в каждую тюремную камеру под видом арестованных агентов НКВД. Эти агенты должны были рассказывать другим заключенным истории о том, как десяти-, двенадцатилетних детей выводили на расстрел вместе с родителями. В садистской атмосфере моральных пыток, расстрелов и самоубийств можно было поверить всему.

Здесь мне хотелось бы упомянуть несколько действительных фактов, относящихся к судьбе детей старых большевиков. Помню, осенью 1937 года до иностранных сотрудников НКВД дошел слух, что Ежов приказал руководителям управлений НКВД в периферийных областях страны арестовывать детей расстрелянных партийцев и выносить им приговоры на основе тех же статей Уголовного кодекса, которые были применены к их родителям. Слух представлялся настолько невероятным, что ни я, ни мои товарищи не принимали его всерьез. Действительно, как можно было поверить тому, что Сталин сможет обвинить десяти-, двенадцатилетних детей в заговоре с целью свержения советского правительства? Впрочем, слухи были очень упорными и доходили до нас вновь и вновь, притом через хорошо информированных людей.

Мне не удалось тогда получить конкретные сведения о судьбе

детей казненных партийцев, а после моего разрыва со сталинщиной вообще было трудно рассчитывать, что когда-нибудь ко мне в руки попадут эти данные. Но жизнь полна неожиданностей – ситуация в какой-то степени прояснилась довольно скоро, притом вполне открыто, с помощью официальной советской печати.

В конце февраля 1939 года в советских газетах появилось сообщение об аресте некоего Лунькова, начальника управления НКВД в Ленинске-Кузнецке, и его подчиненных за то, что они арестовывали малолетних детей и вымогали у них показания, будто те принимали участие в заговоре с целью свержения Советского правительства. Согласно этому сообщению, детей держали в переполненных камерах, вместе с обычными уголовниками и политическими заключенными. В газетах был описан случай, когда десятилетний мальчик по имени Володя в результате допроса, длившегося всю ночь, сознался, что в течение трех лет состоял в фашистской организации.

Один из свидетелей обвинения на суде показывал:

– Мы спрашивали ребят, например, откуда им известно, что такое фашизм. Они отвечали примерно так: «Фашистов мы видели только в кино. Они носят белые фуражки». Когда мы спросили ребят о троцкистах и бухаринцах, они ответили: «Этих людей мы встречали в тюрьме, где нас держали».

Раз дети встречались с троцкистами и бухаринцами в тюрьме, то, значит, троцкисты и бухаринцы, в свою очередь, видели там детей и, безусловно, знали, что они обвинены в антигосударственном заговоре и в других преступлениях, караемых смертью. Ничего удивительного, что обвиняемые, представшие перед судом на третьем из московских процессов, готовы были любой ценой сохранить жизнь собственным детям и уберечь их от сталинского пыточного следствия.

Пусть никого не удивляет то обстоятельство, что Сталин решил вынести на открытый суд некоторые факты, порочащие его систему. Это была обычная для Сталина тактика: когда его преступления получали огласку, он спешил снять с себя всякую ответственность и переложить вину на своих чиновников, выводя их напоказ в открытых судебных процессах. Им тоже была дорога собственная жизнь, и на таких судах не прозвучало ни слова о том, что они совершали преступления, руководствуясь прямыми указаниями сверху.

ТРЕТИЙ ПРОЦЕСС

На третьем московском процессе, начавшемся в Москве в марте 1938 года, в качестве главных обвиняемых фигурировали: Николай Бухарин, бывший глава Коминтерна, член ленинского Политбюро и один из крупнейших теоретиков партии; Алексей Рыков, тоже бывший член Политбюро и заместитель Ленина в Совете народных комиссаров, после ленинской смерти возглавивший Советское правительство; Николай Крестинский, бывший секретарь ЦК партии и заместитель Ленина по организационным вопросам; Христиан Раковский, один из самых уважаемых старых членов партии, имеющий огромные заслуги перед революцией и назначенный, по указанию Ленина, руководителем Советской Украины.

И вот рядом с этими прославленными деятелями партии на скамье подсудимых оказалась одиозная фигура, появление которой среди арестованных друзей и соратников Ленина было сенсацией мирового значения.

Речь идет о бывшем руководителе НКВД Генрихе Ягоде. Тот самый Ягода, который полтора года назад, роковой августовской ночью 1936 года, стоял с Ежовым в подвале здания НКВД, наблюдая, как происходит расстрел Зиновьева, Каменева и других осужденных на первом процессе. А теперь сам Ягода, по приказу Сталина, посажен на скамью подсудимых как участник того же самого заговора и один из ближайших сообщников Зиновьева, Каменева, Смирнова и других старых большевиков, которых он же пытал и казнил.

Более чудовищную нелепость трудно было себе представить. Казалось, что Сталин весь свой талант фальсификатора израсходовал на организацию первых двух процессов и его «творческое» воображение исчерпало себя...

Подлинное же объяснение того, что поверхностному наблюдателю могло казаться просто нелепостью, составляет один из главнейших секретов всех трех московских процессов. Дело в том, что Сталин применил такой «идиотский» ход отнюдь не по недомыслию. Напротив, он был чрезвычайно проницателен и дьявольски ловок, когда дело касалось политических интриг. Просто он не смог избежать специфических трудностей, с какими сталкиваются все фальсификаторы, когда следы их подлогов становятся явными.

Итак, выдумав чудовищную нелепость, будто Ягода был сообщником Зиновьева и Каменева, Сталин полностью снимал с себя ответственность за некое давнее преступление, следы

которого оказались недостаточно затерты и вели прямо к нему, Сталину. Этим преступлением было убийство Кирова.

Наутро после убийства Кирова Сталин, оставив все дела, прибыл в Ленинград— якобы для расследования обстоятельств убийства, а в действительности чтобы проверить, соблюдены ли все необходимые предосторожности. Обнаружив, что в деле отчетливо проступает «рука НКВД», он сделал все для того, чтобы замести следы этого участия. Он поспешил отдать приказ о расстреле убийцы Кирова и распорядился ликвидировать без суда всех, кто знал о роли НКВД в этом деле.

Однако напрасно Сталин думал, что тайна убийства Кирова так и останется навсегда тайной. Он явно просчитался, не придав значения, скажем, тому факту, что заместителей Кирова удивило таинственное исчезновение его охраны из злополучного коридора. Заместители Кирова знали также, что его убийца— Николаев— за две недели до того уже был задержан в Смольном, что при нем и тогда был заряженный револьвер и, тем не менее, спустя две недели ему снова выдали пропуск в Смольный.

Но наиболее подозрительным, что подтверждало слухи, будто Киров был «ликвидирован» самими властями, выглядел сталинский приказ Агранову и Миронову: очистить Ленинград от «кировцев». В ленинградское управление НКВД были вызваны сотни видных деятелей, составлявших основу кировского политического и хозяйственного аппарата. Каждому из них было предписано в течение недели покинуть Ленинград и переехать на новое место работы, которое было подобрано, как правило, в отдаленных районах Урала и Сибири.

Впервые в истории Советского государства партийные чиновники получали новое назначение не от партии, а от НКВД. Срок, назначаемый для выезда, был столь кратким, что многие директора предприятий не успевали передать дела. Попытки опротестовать этот произвол или получить какие-то разъяснения наталкивались на стереотипный ответ: «Вы слишком засиделись в Ленинграде». В течение лета 1935 года таким образом было выслано из Ленинграда около 3500 человек. Вся эта кампания очень напоминала чистку городских организаций от «зиновьевцев» несколькими годами ранее, после поражения зиновьевской оппозиции. Неудивительно, что в партийных кругах ходил слух о том, что Киров возглавил новую оппозицию, но ее удалось уничтожить в зародыше.

Сотрудникам НКВД также было известно больше, чем следовало, и, видимо, через них информация о том, что ленинградское управление НКВД приложило руку к убийству Кирова, просочилась в аппарат ЦК.

В тех кругах партийцев, которые ориентировались в обстановке, было известно, что Ягода – лишь номинальный руководитель НКВД, а подлинный хозяин этого ведомства – Сталин. Эти круги прекрасно понимали (или догадывались), что раз НКВД замешан в убийстве Кирова, значит, убийство совершено по указанию Сталина.

О том, что тайна убийства Кирова, в общем-то, перестала быть тайной, Сталин узнал с запозданием. Ягода, снабжавший его разнообразной информацией, в том числе и сводками различных слухов и настроений, боялся докладывать об этом. Бушах Ягоды все еще звучала бешеная сталинская реплика: «Мудак!», брошенная ему в Ленинграде. Видные члены ЦК, постепенно узнавшие тайну убийства Кирова, тоже не спешили сообщить об этом Сталину, поскольку этим они автоматически зачислили бы себя в категорию людей, знающих «слишком много».

В общем, когда все это стало известно Сталину, было уже поздно думать о более тщательном сокрытии истины. Оставалось только одно: объявить открыто, что убийство Кирова было делом рук НКВД, и отнести все на счет Ягоды. А поскольку на первых двух московских процессах ответственность за это убийство была возложена на Зиновьева и Каменева, то теперь Ягода должен был стать их сообщником. Таким образом, извилистые увертки, обычно сопровождающие любое мошенничество, заставили Сталина свести воедино две взаимоисключающие версии. Так родилась эта абсурдная легенда, будто Ягода, возглавлявший подготовку первого московского процесса, а затем казнивший Зиновьева и Каменева, в действительности был их сообщником.

* * *

На третьем московском процессе Сталин дал ответ тем зарубежным критикам, которые все упорнее ставили один и тот же каверзный вопрос: как объяснить тот факт, что десятки тщательно организованных террористических групп, о которых столько говорилось на обоих первых процессах, смогли совершить лишь один-единственный террористический акт – убийство Кирова?

Сталин понимал, что этот вопрос попадает в самую точку: действительно, факт одного лишь убийства был слабым местом всего грандиозного судебного спектакля. Уйти от этого вопроса было невозможно. Ну что ж, он, Сталин, примет вызов и ответит критикам. Чем? Новой легендой, которую он вложит в уста подсудимых на третьем московском процессе.

Итак, чтобы достойно ответить на вызов, Сталин должен был указать поименно тех руководителей, которые погублены заговорщиками. Однако как их найти? За последние двадцать лет народу было сообщено только об одном террористическом акте – все о том же убийстве Кирова. Для тех, кто хотел бы проследить, как действовал изощренный сталинский мозг, едва ли мог представиться более подходящий случай, чем этот. Посмотрим, как Сталин разрешил эту проблему и как она была преподнесена суду.

Между 1934 и 1936 годами в Советском Союзе умерло естественной смертью несколько видных политических деятелей. Самыми известными из них были член Политбюро Куйбышев и председатель ОГПУ Менжинский. В тот же период умерли А.М. Горький и его сын Максим Пешков. Сталин решил использовать эти четыре смерти. Хотя Горький не был членом правительства и не входил в Политбюро, Сталин и его хотел изобразить жертвой террористической деятельности заговорщиков, надеясь, что это злодеяние вызовет возмущение народа, направленное против обвиняемых.

Но осуществить этот план было не так-то просто даже облеченному диктаторской властью Сталину. Сложность заключалась в том, что подлинные обстоятельства смерти каждого из этих четверых были подробно описаны в советских газетах. Публиковались заключения врачей, обследовавших умерших, и людям было известно, что Куйбышев и Менжинский много лет страдали грудной жабой и оба умерли от сердечного приступа. Когда в июне 1936 года заболел шестидесятивосьмилетний Горький, правительство распорядилось ежедневно публиковать бюллетень о состоянии его здоровья. Все знали, что у него с юных лет был туберкулез. Вскрытие показало, что активно работала только треть его легких.

Казалось бы, после всей этой информации невозможно выдвинуть версию, будто все четверо погибли от рук террористов. Но логика, обязательная для простых смертных, не была обязательна для Сталина. Ведь сказал же он как-то Крупской, что если она не перестанет относиться к нему «критически», то партия объявит, что не она, а Елена Стасова была женой Ленина... «Да, партия все может!» – пояснил он озадаченной Крупской.

Это вовсе не было шуткой. Партия, то есть он, Сталин, действительно может сделать все что захочет, может отменить общеизвестные факты и заменить их мифами. Может уничтожить настоящих свидетелей события и подставить на их место

лжесвидетелей. Главное– освоить алхимию подлога и научиться, не колеблясь, употреблять силу. Обладая этими качествами, Сталин мог преодолеть любые препятствия.

Что за беда, если несколько лет назад правительство и объявило, что Куйбышев, Менжинский и Горький умерли естественной смертью? Проявив достаточную изобретательность, можно опровергнуть те давние сообщения и доказать, что в действительности все они были умерщвлены. Кто может помешать ему так поступить? Врачи, которые лечили умерших? Но разве эти врачи не подвластны Сталину и НКВД? И почему бы, например, не сказать, что сами врачи тайно умерщвляли своих знаменитых пациентов, и притом делали это по требованию руководителей троцкистского заговора?

Такова была та коварная уловка, к которой прибег Сталин.

* * *

Куйбышева, Менжинского и Горького лечили трое известных врачей: 66-летний профессор Плетнев, старший консультант Медицинского управления Кремля Левин и широко известный в Москве врач Казаков.

Сталин с Ежовым решили передать всех троих в руки следователей НКВД, где их заставят сознаться, что по требованию руководителей заговора они применяли неправильное лечение, которое заведомо должно было привести к смерти Куйбышева, Менжинского и Горького.

Однако врачи не были членами партии. Их не обучали партийной дисциплине и диалектике лжи. Они все еще придерживались устаревшей буржуазной морали и превыше всех директив Политбюро чтили заповеди: не убий и не лжесвидетельствуй. В общем, они могли отказаться говорить на суде, что они убили своих пациентов, коль скоро в действительности они этого не делали.

Ежов вынужден был считаться с этим. Он решил сломить сначала волю одного из врачей и в дальнейшем использовать его показания для давления на остальных.

Он остановил свой выбор на профессоре Плетневе, наиболее выдающемся в СССР кардиологе, именем которого был назван ряд больниц и медицинских учреждений. Чтобы деморализовать Плетнева еще до начала так называемого следствия, Ежов прибег к коварному приему. К профессору в качестве пациентки была послана молодая женщина, обычно используемая НКВД для вытягивания сотрудников иностранных миссий в пьяные кутежи.

После одного или двух посещений профессора она подняла шум, бросилась в прокуратуру и заявила, что три года назад Плетнев, принимая ее у себя дома, в пароксизме сладострастия набросился на нее и укусил за грудь.

Не имея понятия о том, что пациентка была подослана НКВД, Плетнев недоумевал, что могло заставить ее таким образом оклеветать его. На очной ставке он пытался получить от нее хоть какие-нибудь объяснения столь странного поступка, однако она продолжала упорно повторять свою версию. Профессор обратился с письмом к членам правительства, которых лечил, написал также женам влиятельных персон, чьих детей ему доводилось спасать от смерти. Он умолял помочь восстановить истину. Никто, однако, не отозвался. Между тем инквизиторы из НКВД молча наблюдали за этими конвульсиями старого профессора, превратившегося в их подопытного кролика.

Дело было направлено в суд, который состоялся под председательством одного из ветеранов НКВД. На суде Плетнев настаивал на своей невинности, ссылаясь на свою безупречную врачебную деятельность в течение сорока лет, на свои научные достижения. Все это никого не интересовало. Суд признал его виновным и приговорил к длительному тюремному заключению. Советские газеты, обычно не сообщающие о подобных происшествиях, на сей раз уделили «садисту Плетневу» совершенно исключительное внимание. На протяжении июня 1937 года в газетах почти ежедневно появлялись резолюции медицинских учреждений из различных городов, поносившие профессора Плетнева, опозорившего советскую медицину. Ряд резолюций такого рода был подписан близкими друзьями и бывшими учениками профессора— об этом позаботился всемогущий НКВД.

Плетнев был в отчаянии. В таком состоянии, разбитый и обесчещенный, он был передан в руки энкавэдистских следователей, где его ожидало еще нечто худшее.

Помимо профессора Плетнева были арестованы еще два врача— Левин и Казаков. Левин, как уже упоминалось, был старшим консультантом Медуправления Кремля, ответственным за лечение всех членов Политбюро и правительства. Организаторы предстоящего судебного процесса были намерены представить его главным помощником Ягоды по части «медицинских убийств», а профессору Плетневу и Казакову отвести роли левинских соучастников.

Доктору Левину было около семидесяти лет. У него было несколько сыновей и множество внуков— очень кстати, поскольку все они рассматривались НКВД как фактические заложники. В

страхе за их судьбу Левин готов был сознаться во всем, что только угодно властям. Перед тем, как с Левиным случилось это несчастье, его привилегированное положение кремлевского врача было предметом зависти многих его коллег. Он лечил жен и детей членов Политбюро, лечил самого Сталина и его единственную дочь Светлану. Но теперь, когда он попал в жернова НКВД, никто не протянул ему руку помощи. Много влиятельных пациентов было и у Казакова; однако его положение являлось столь же безнадежным.

Согласно легенде, состряпанной Сталиным при участии Ежова, Ягода вызывал этих врачей в свой кабинет, каждого поодиночке, и путем угроз добивался от них, чтобы они неправильным лечением сводили в могилу своих знаменитых пациентов— Куйбышева, Менжинского и Горького. Из страха перед Ягодой врачи будто бы повиновались.

Эта легенда столь абсурдна, что для ее опровержения достаточно поставить один-единственный вопрос: зачем этим врачам, пользующимся всеобщим уважением, надо было совершать убийства, требуемые Ягодой? Им достаточно было предупредить о замысле Ягоды своих влиятельных пациентов, и те сразу сообщили бы Сталину и правительству. Мало того, у врачей была возможность рассказать о планах Ягоды не только намечаемым жертвам, но и непосредственно Политбюро. Профессор Плетнев, скажем, мог обратиться к Молотову, которого он лечил, а Левин, работающий в Кремле, — даже к самому Сталину.

Вышинский оказался не в состоянии предъявить суду ни единого доказательства вины врачей. Разумеется, сами они легко могли опровергнуть обвинения в убийстве, тем не менее, они поддержали Вышинского и заявили на суде, что по требованию руководителей заговора действительно применяли хоть и надлежащие лекарства, но таким образом, чтобы вызвать скорейшую смерть своих высокопоставленных пациентов. Иных показаний ждать не приходилось— обвиняемым внушили, что их спасение не в отрицании своей вины, а, напротив, в полном признании и раскаянии.

Так три беспартийных и совершенно аполитичных врача были использованы для того, чтобы подправить давнюю сталинскую версию и убедить мир, что террористам удалось не одно лишь убийство Кирова.

Во всей этой фантастической истории наибольший интерес, с точки зрения анализа фальсификаторского таланта Сталина, представляет легенда об убийстве Горького.

Сталину было важно представить Горького жертвой убийц из троцкистско-зиновьевского блока не только ради возбуждения народной ненависти к этим людям, но и ради укрепления собственного престижа: получалось, что Горький, «великий гуманист», был близким другом Сталина и уже в силу этого – непримиримым врагом тех, кто был уничтожен в результате московских процессов.

Мало того: Сталин пытался изобразить Горького не только своим близким другом, но и страстным защитником сталинской политики. Этот мотив прозвучал в «признаниях» всех обвиняемых на третьем московском процессе. Например, Левин привел следующие слова Ягоды, объясняющие, почему заговорщикам необходима была смерть Горького: «Алексей Максимович – человек, стоящий очень близко к высшему руководству партии, человек, одобряющий политику, которая проводится в стране, преданный лично Иосифу Виссарионовичу Сталину». Продолжая ту же линию, Вышинский в своей обвинительной речи заявил: «Не случайно он (т. е. Горький) связал свою жизнь с великим Лениным и великим Сталиным, сделавшись их лучшим и самым близким другом».

Таким образом, Вышинский стянул узами дружбы и взаимной преданности сразу троих: Сталина, Ленина и Горького. Однако узел этот был ненадежным. Вспомним хотя бы так называемое «ленинское завещание», где он рекомендует снять Сталина с поста генсека. Добавим к этому и личное письмо Ленина, объявляющее Сталину, что он порывает с ним все отношения. Так что попытка представить Ленина в качестве близкого друга Сталина является не чем иным, как бесчестным обманом.

Попробуем также проанализировать «тесную дружбу» между Сталиным и Горьким. Эта «тесная дружба» отнюдь не без особых на то причин постоянно подчеркивалась на суде и обвиняемыми, и их защитниками, и прокурором. Сталин чрезвычайно нуждался в создании такого впечатления. После двух лет массового террора моральный авторитет Сталина, и без того не слишком высокий, совсем упал. В глазах собственного народа Сталин предстал в своем истинном обличье – жестокий убийца, запятнавший себя кровью лучших людей страны. Он это понимал и спешил прикрыться огромным моральным авторитетом Горького, якобы дружившего с ним и горячо поддерживавшего его политику.

В дореволюционной России Горький пользовался репутацией защитника угнетенных и мужественного противника

самодержавия. В дальнейшем, несмотря на личную дружбу с Лениным, он в первые годы революции нападал на него, осуждая в своей газете «Новая жизнь» красный террор и беря под защиту преследуемых «бывших людей».

Задолго до смерти Горького Сталин пытался сделать его своим политическим союзником. Те, кому была известна неподкупность Горького, могли представить, насколько безнадежной являлась эта задача. Но Сталин никогда не верил в человеческую неподкупность. Напротив, он часто указывал сотрудникам НКВД, что в своей деятельности они должны исходить из того, что неподкупных людей не существует вообще. Просто у каждого своя цена.

Руководствуясь такой философией, Сталин начал обхаживать Горького.

В 1928 году ЦК партии начал всесоюзную кампанию за возвращение Горького в СССР. Кампания была организована очень искусно. Сначала объединения советских писателей, а затем и другие организации стали посылать Горькому в Италию письма, чтобы он вернулся на родину помочь поднимать культурный уровень масс. Среди приглашений, которыми засыпали Горького, были даже письма от пионеров и школьников: дети спрашивали горячо любимого писателя, почему это он предпочитает жить в фашистской Италии, а не в Советском Союзе, среди русского народа, который так его любит.

Как бы поддаваясь стихийному напору масс, советское правительство направило Горькому теплое приглашение переселиться в Советский Союз. Горькому было обещано, что, если он пожелает, ему будет предоставлена возможность проводить в Италии зимние месяцы. Разумеется, правительство берет заботу о благополучии Горького и все расходы на себя.

Под влиянием этих призывов Горький вернулся в Москву. С этого момента начала действовать программа его задабривания, выдержанная в сталинском стиле. В его распоряжение были предоставлены особняк в Москве и две благоустроенные виллы — одна в Подмосковье, другая в Крыму. Снабжение писателя и его семьи всем необходимым было поручено тому же самому управлению НКВД, которое отвечало за обеспечение Сталина и членов Политбюро. Для поездок в Крым и за границу Горькому был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон. По указанию Сталина, Ягода стремился ловить на лету малейшие желания Горького и исполнять их. Вокруг его вилл были высажены его любимые цветы, специально доставленные из-за границы. Он курил особые папиросы, заказываемые для него в Египте. По первому требованию ему доставлялась любая книга из

любой страны. Горький, по натуре человек скромный и умеренный, пытался протестовать против вызывающей роскоши, которой его окружали, но ему было сказано, что Максим Горький в стране один.

Как и было обещано, он получил возможность проводить осень и зиму в Италии и выезжал туда каждый год (с 1929-го по 1933-й). С ним были два советских врача, наблюдавших за состоянием его здоровья во время этих поездок.

* * *

Вместе с заботой о материальном благополучии Горького Сталин поручил Ягоде его «перевоспитание». Надо было убедить старого писателя, что Сталин строит настоящий социализм и делает все, что в его силах, для подъема жизненного уровня трудящихся.

С первых же дней пребывания писателя в Москве Ягода принял меры, чтобы он не мог свободно общаться с населением. Зато он получил возможность изучать жизнь народа на встречах с рабочими различных заводов и тружениками подмосковных образцово-показательных совхозов. Эти встречи тоже организовывались НКВД. Когда Горький появлялся на заводе, собравшиеся приветствовали его с восторгом. Специально выделенные ораторы выступали с речами о «счастливой жизни советских рабочих» и о великих достижениях в области образования и культуры трудящихся масс. Руководители местных парткомов провозглашали: «Ура в честь лучших друзей рабочего класса – Горького и Сталина!»

Ягода старался так заполнить дни Горького, что у того просто не оставалось времени на самостоятельные наблюдения и оценки. Его возили на те же зрелища, какими гиды Интуриста потчевали иностранных туристов. Особенно заинтересовали его две коммуны, организованные под Москвой, в Болшеве и в Люберцах, для бывших уголовников. Те привыкли встречать Горького бурными аплодисментами и заранее заготовленными речами, в которых благодарность за возвращение к честной жизни выражалась двум лицам: Сталину и Горькому. Дети бывших преступников декламировали отрывки из горьковских произведений. Горький бывал так глубоко растроган, что не мог сдержать слез. Для сопровождавших его чекистов это было верным признаком, что они добросовестно выполняют инструкции, полученные от Ягоды.

Чтобы поосновательней загрузить Горького повседневными

делами, Ягода включил его в группу литераторов, которые занимались составлением истории советских фабрик и заводов, воспевая «пафос социалистического строительства». Горький взялся также опекать различные культурные начинания, в помощь писателям-самоучкам организовал журнал «Литературная учеба». Он участвовал в работе так называемой ассоциации пролетарских писателей, во главе которой стоял Авербах, женатый на племяннице Ягоды. Прошло несколько месяцев со дня приезда Горького в СССР – и он уже был так загружен, что не имел свободной минуты. Полностью изолированный от народа, он двигался вдоль конвейера, организованного для него Ягодой, в неизменной компании чекистов и нескольких молодых писателей, сотрудничавших с НКВД. Всем, кто окружал Горького, было вменено в обязанность рассказывать ему о чудесах социалистического строительства и петь дифирамбы Сталину. Даже садовник и повар, выделенные для писателя, знали, что время от времени они должны рассказывать ему, будто «только что» получили письмо от своих деревенских родственников, которые сообщают, что жизнь там становится все краше.

Положение Горького ничем не отличалось от положения иностранного дипломата, стой, однако, разницей, что иностранный посол из секретных источников регулярно получал информацию о том, как идут дела в стране его пребывания. У Горького таких секретных информаторов не было – он довольствовался тем, что расскажут люди, приставленные к нему НКВД.

Зная горьковскую отзывчивость, Ягода подготовил для него своеобразное развлечение. Раз в год он брал его с собой инспектировать какую-нибудь тюрьму. Там Горький беседовал с заключенными, предварительно отобранными НКВД из числа уголовников, которых намечалось освободить досрочно. Каждый из них рассказывал Горькому о своем преступлении и давал обещание начать после освобождения новую, честную жизнь. Сопровождавший чекист – обычно это был не лишенный актерских задатков Семен Фирин – доставал карандаш и блокнот и вопросительно взглядывал на Горького. Если тот кивал, Фирин записывал имя заключенного и давал распоряжение охране освободить его. Иногда, если заключенный был молод и производил особенно хорошее впечатление, Горький просил, чтобы этому юноше предоставили место в одной из образцово-показательных коммун для бывших уголовников.

Нередко Горький просил освобождаемых написать ему и дать знать, как у них налаживается новая жизнь. Сотрудники Ягоды следили за тем, чтобы Горькому приходили такие письма. В

общем, Горькому жизнь должна была представляться сплошной идиллией. Даже Ягода и его помощники казались ему добродушными идеалистами.

* * *

В счастливом неведении Горький оставался до той поры, пока сталинская коллективизация не привела к голоду и к страшной трагедии осиротевших детей, десятками тысяч хлынувших из сел в города в поисках куска хлеба. Хотя окружавшие писателя люди всячески старались преуменьшить размеры бедствия, он был не на шутку встревожен. Он начал ворчать, а в разговорах с Ягодой открыто осуждал многие явления, которые заметил в стране, но о которых до поры до времени помалкивал.

В 1930 или 1931 году в газетах появилось сообщение о расстреле сорока восьми человек, виновных будто бы в том, что они своими преступными действиями вызвали голод. Это сообщение привело Горького в бешенство. Разговаривая с Ягодой, он обвинил правительство в расстреле невинных людей с намерением свалить на них ответственность за голод. Ягода с сотрудниками так и не смогли убедить писателя, что эти люди действительно были виновны.

Некоторое время спустя Горький получил из-за границы приглашение вступить в международный союз писателей-демократов. В соответствии с инструкцией Сталина Ягода заявил, что Политбюро против этого, потому что некоторые члены союза уже успели подписать антисоветское обращение к Лиге защиты прав человека, протестуя против недавних казней в СССР. Политбюро надеется, что Горький вступится за честь своей страны и поставит клеветников на место.

Горький заколебался. В самом деле, в «домашних» разговорах с Ягодой он мог брюзжать и протестовать против жестоких действий правительства, но в данном случае речь шла о защите СССР от нападок мировой буржуазии. Он ответил международному союзу писателей-демократов, что отказывается от вступления в эту организацию по такой-то и такой причине. Он добавил, что вина расстрелянных в СССР людей представляется ему несомненной.

Между тем сталинские щедроты сыпались на Горького как из рога изобилия. Совет народных комиссаров специальным постановлением отметил его большие заслуги перед русской литературой. Его именем было названо несколько предприятий. Моссовет принял решение переименовать главную улицу Москвы

– Тверскую – в улицу Горького.

В то же время Сталин не делал попыток лично сблизиться с Горьким. Он виделся с ним раз или два в году по случаю революционных праздников, предоставляя ему самому сделать первый шаг. Зная горьковскую слабость, Сталин прикинулся крайне заинтересованным в развитии русской литературы и театра и даже предложил Горькому должность наркома просвещения. Писатель, однако, отказался, ссылаясь на отсутствие у него административных способностей.

Когда Ягода с помощниками решили, что Горький уже полностью под их влиянием, Сталин попросил Ягodu внушить старому писателю: как было бы здорово, если б он взялся за произведение о Ленине и Сталине. Горького знали в стране как близкого друга Ленина, знали, что Ленина и Горького связывала личная дружба, и Сталин хотел, чтобы горьковское перо изобразило его достойным преемником Ленина.

Сталину не терпелось, чтобы популярный русский писатель обессмертил его имя. Он решил осыпать Горького царскими подарками и почестями и таким образом повлиять на содержание и, так сказать, тональность будущей книги.

За короткое время Горький удостоился таких почестей, о которых крупнейшие писатели мира не могли и мечтать. Сталин распорядился назвать именем Горького крупный промышленный центр– Нижний Новгород. Соответственно и вся Нижегородская область переименовывалась в Горьковскую. Имя Горького было присвоено Московскому Художественному театру, который, к слову сказать, был основан и получил всемирную известность благодаря Станиславскому и Немировичу-Данченко, а не Горькому. Все эти сталинские щедроты отмечались пышными банкетами в Кремле, на которых Сталин поднимал бокал за «великого писателя земли Русской» и «верного друга большевистской партии». Все это выглядело так, словно он задался целью доказать сотрудникам НКВД правильность своего тезиса: «у каждого человека своя цена».

* * *

Однако время шло, а Горький все не начинал писать книгу про Сталина. Судя по тому, чем он занимался и какие задачи ставил перед собой, было непохоже, что он намеревается приняться за сталинскую биографию.

Я сидел как-то в кабинете Агранова. В кабинет вошел организатор знаменитых коммун из бывших уголовников–

Погребинский, с которым Горький был особенно дружен. Из разговора стало ясно, что Погребинский только что вернулся с подмосковной горьковской виллы. «Кто-то испортил все дело, – жаловался он. – Я уж и так подходил к Горькому и этак, но он упорно избегает разговора о книге». Агранов согласился, что, по-видимому, кто-то действительно «испортил все дело». На самом же деле Сталин и руководство НКВД просто недооценили характер Горького.

Горький не был так прост и наивен, как им казалось. Зорким писательским глазом он постепенно проник во все, что делается в стране. Зная русский народ, он мог читать по лицам, как в раскрытой книге, какие чувства испытывают люди, что их волнует и беспокоит. Видя на заводах изможденные лица недоедающих рабочих, глядя из окна своего персонального вагона на бесконечные эшелоны арестованных «кулаков», вывозимых в Сибирь, Горький давно понял, что за фальшивой вывеской сталинского социализма царят голод, рабство и власть грубой силы.

Но больше всего терзала Горького все усиливающаяся травля старых большевиков. Многих из них он лично знал с дореволюционных времен. В 1932 году он высказал Ягоде свое горькое недоумение в связи с арестом Каменева, к которому относился с глубоким уважением. Услышав об этом, Сталин распорядился освободить Каменева из заключения и вернуть его в Москву. Можно припомнить еще несколько случаев, когда вмешательство Горького спасало того или другого из старых большевиков от тюрьмы и ссылки. Но писатель не мог примириться уже с самим фактом, что старых членов партии, томившихся в царских тюрьмах, теперь вновь арестовывают. Он высказывал свое возмущение Ягоде, Енукидзе и другим влиятельным деятелям, все больше раздражая Сталина.

В 1933–1934 годах были произведены массовые аресты участников оппозиции, о них официально вообще ничего не сообщалось. Как-то с Горьким, вышедшим на прогулку, заговорила неизвестная женщина. Она оказалась женой старого большевика, которого Горький знал еще до революции. Она умоляла писателя сделать все, что в его силах, – ей с дочерью, которая больна костным туберкулезом, грозит высылка из Москвы. Спросив о причине высылки, Горький узнал, что ее муж отправлен в концлагерь на пять лет и уже отбыл два года своего срока.

Горький немедленно заступился. Он позвонил Ягоде и, получив ответ, что НКВД не может освободить этого человека без санкции ЦК, обратился к Енукидзе. Однако Сталин заупрямился.

Его уже давно раздражало заступничество Горького за политических противников, и он заявил Ягоде, что «пора излечить Горького от привычки совать нос в чужие дела». Жену и дочь арестованного он разрешил оставить в Москве, но его самого запретил освобождать, пока не кончится его срок.

Отношения между Горьким и Сталиным становились натянутыми. К началу 1934 года стало окончательно ясно, что столь желанной книги Сталину так и не видать.

Изоляция Горького стала еще более строгой. К нему допускались только немногие избранные, отфильтрованные НКВД. Если Горький выражал желание увидеться с кем-то посторонним, нежелательным для «органов», то этого постороннего старались немедленно услатить куда-нибудь из Москвы. В конце лета 1934 года Горький запросил заграничный паспорт, собираясь провести будущую зиму, как и предыдущие, в Италии. Однако ему было в этом отказано. Врачи, следуя сталинским указаниям, нашли, что для здоровья Горького полезнее провести эту зиму не в Италии, а в Крыму. Мнение самого Горького уже больше не принималось во внимание. Будучи знаменитым советским писателем, он принадлежал государству, поэтому право судить, что ему на пользу, а что нет, стало прерогативой Сталина.

«С паршивой овцы— хоть шерсти клок»... Не получилось с книгой, решил Сталин, пусть напишет хотя бы статью. Ягоде было приказано передать Горькому такую просьбу: приближается годовщина Октября и хорошо бы, чтоб Горький написал для «Правды» статью «Ленин и Сталин». Руководители НКВД были уверены, что на этот раз Горький не сможет уклониться от заказа. Но он вновь оказался принципиальнее, чем они рассчитывали, и обманул ожидания Ягоды.

Вскоре после этого Сталин предпринял еще одну и, насколько мне известно, последнюю попытку воспользоваться авторитетом Горького. Дело происходило в декабре 1934 года, только что были арестованы Зиновьев и Каменев, которым намечалось предъявить обвинение в организации убийства Кирова. В эти дни Ягода передал Горькому задание написать для «Правды» статью с осуждением индивидуального террора. Сталин рассчитывал, что эту статью Горького в народе расценят как выступление писателя против «зиновьевцев». Горький, конечно, понимал, в чем дело. Он отклонил просьбу, услышанную от Ягоды, сказав при этом: «Я осуждаю не только индивидуальный, но и государственный террор!»

После этого Горький опять, на этот раз официально, потребовал выдать ему заграничный паспорт для выезда в

Италию. Конечно, ему вновь было отказано. В Италии Горький мог, чего доброго, действительно написать книгу, но она была бы совсем не та, какую мечтал иметь Сталин. Так писатель и остался сталинским пленником до смерти, последовавшей в июне 1936 года.

После смерти Горького сотрудники НКВД нашли в его вещах тщательно припрятанные заметки. Кончив их читать, Ягода выругался и буркнул: «Как волка ни корми, он все в лес смотрит!»

Заметки Горького по сей день остаются недоступны миру...

ЛИКВИДАЦИЯ ЯГОДЫ

Появление всемогущего начальника сталинской тайной полиции на скамье подсудимых произвело в стране фурор. Тем более что Сталин, по своему обычаю, навесил на него множество невероятных грехов. Оказывается, Ягода, в течение пятнадцати лет возглавлявший советскую контрразведку, сам являлся иностранным шпионом. Уже одно это звучало фантастически. Но сверх того Ягода, известный всей стране как свирепый палач троцкистов, сам оказался троцкистом и доверенным агентом Троцкого.

Это Ягода опрыскивал стены ежовского кабинета ядом, чтобы умертвить Ежова. Это он набрал целую команду врачей, чтобы «залечить насмерть» тех, кого он не решался убить в открытую. При упоминании подобных приемов в уме воскресали легенды об умерщвлении соперников ароматом ядовитых цветов и дымом отравленных свеч.

Однако народ не мог расценивать все происходящее как всего лишь кошмарную легенду. Прозаические стенограммы судебных заседаний, сообщения о расстрелах обвиняемых придавали этим кошмарам пугающую реальность. Из всего происходящего люди могли сделать единственно важный для себя вывод: уж если всемогущего Ягоду так бесцеремонно бросили в тюрьму, то никто в СССР не может чувствовать себя в безопасности. Коль скоро сам создатель инквизиторской машины не смог выстоять под ее давлением, то уж никакой смертный не должен надеяться на поблажку.

Если бы у Сталина не возникла насущная потребность обвинить Ягоду в убийстве Кирова, он, конечно, не посадил бы его на скамью подсудимых. Потерять Ягоду, отказаться от его бесценных услуг – было серьезной жертвой для Сталина. За пятнадцать лет, что они проработали рука об руку, Ягода сделался чуть ли не «вторым я» Сталина. Никто так не понимал Сталина, как Ягода. Никто из приближенных не сделал для него так много. Никому Сталин не доверял в такой степени, как Ягоде.

Обладая сталинскими чертами – той же изворотливостью и подозрительностью – и почти сталинской виртуозностью в искусстве политической интриги, именно Ягода оплетал потенциальных соперников Сталина предательской паутиной и тщательно подбирал ему беспринципных, но надежных помощников.

Когда Сталин начинал подозревать кого-то из наркомов или членов Политбюро, Ягода назначал в заместители

подозреваемому одного из своих доверенных сотрудников. Так, помощник Ягоды Прокофьев поочередно занимал посты заместителя наркома тяжелой промышленности и наркома госконтроля. Начальники управлений НКВД Благонравов и Кишкин были назначены помощниками Лазаря Кагановича, наркома путей сообщения. Помощники Ягоды Мессинг и Логановский были направлены заместителями к наркому внешней торговли, а заместитель Ягоды Трилиссер назначен помощником Пятницкого, который в то время руководил Коминтерном. Я мог бы назвать и многих других, подобранных Ягодой для укрепления диктаторской власти Сталина в государственном и партийном аппарате.

Ягода собирал для Сталина компрометирующую информацию, касающуюся высших руководителей государства. Когда в поведении такого руководителя начинали проявляться малейшие признаки независимости, Сталину достаточно было протянуть руку к досье, подобранному Ягодой. В таком досье наряду с серьезными документами, например доказательствами былой принадлежности советского государственного деятеля к информаторам царской полиции, можно было встретить смехотворные донесения наподобие того, что жена этого деятеля колотит свою домработницу или что на Пасху она тайно ходила в церковь святить куличи. Самым распространенным прегрешением было такое: почти все сталинские соратники, заполняя партийные анкеты, приписывали себе дореволюционный партийный стаж, которого в действительности не имели.

В досье были отражены также скандалы, связанные с половой распущенностью «вождей». Мне довелось видеть донесение такого рода, относившееся к Куйбышеву, который занимал должность заместителя Председателя Совнаркома. Как-то он «похитил» с банкета жену председателя правления Госбанка и скрывался в ее обществе три дня подряд, так что пришлось отменить все заседания Совнаркома, назначенные на эти дни. Другое донесение относилось к 1932 году и было связано с похождениями члена Политбюро Рудзутака. На одном из приемов тот усиленно угощал спиртным тринадцатилетнюю дочь второго секретаря Московского комитета партии и затем изнасиловал ее. Еще одно донесение, относящееся к тому же Рудзутаку: в 1927 году, прибыв в Париж, он пригласил группу сотрудников советского полпредства с женами пройтись по сомнительным заведениям и там раздавал проституткам чаевые крупными купюрами. Как правило, Сталин не использовал эти компрометирующие донесения, пока не считал необходимым специально призвать к порядку того или иного из своих

сановников.

Ягоду можно было назвать глазами и ушами Сталина. В квартирах и на дачах членов Политбюро и наркомов он установил замаскированные микрофоны и всю информацию, полученную таким путем, докладывал Сталину. Сталин знал всю подноготную своих соратников, нередко был в курсе их самых сокровенных мыслей, неосторожно высказанных в разговоре с женой, сыном, братом или другом. Все это ограждало сталинскую единоличную власть от всяких неожиданных сюрпризов.

Кстати, Сталин был чрезвычайно ревнив ко всем проявлениям дружбы среди своих приближенных, особенно членов Политбюро. Если двое или трое из них начинали встречаться в свободное время, Ягода должен был наострить уши и сделать Сталину соответствующий доклад. Ведь люди, связанные личной дружбой, склонны доверять друг другу. А это могло уже привести к возникновению группы или фракции, направленной против Сталина. В подобных случаях он старался спровоцировать ссору между новыми друзьями, а если они туго соображали, что от них требуется, то и разъединить их, переведя одного из них на работу вне Москвы или используя другие «организационные меры».

* * *

Услуги, которые Ягода оказывал Сталину, были серьезны и многообразны. Но главная ценность Ягоды состояла в том, что он преследовал политических противников Сталина с беспрецедентной жестокостью, стер с лица земли остатки оппозиции и старую ленинскую гвардию.

При всем том Ягода был единственным, кого, несмотря на его громадную власть, Сталин мог не опасаться как соперника. Он знал, что, если Ягода и надумает сколотить политическую фракцию, направленную против его, сталинского, руководства, партия за ним не пойдет. Путь к соглашению со старой гвардией был для него навсегда закрыт трупами старых большевиков, расстрелянных им по приказу Сталина. Не мог Ягода сколотить и новую оппозицию из тех, кто окружал Сталина, – члены Политбюро и правительства ненавидели его лютой ненавистью.

Они не могли смириться с тем, что Сталин доверил Ягоде, человеку без революционного прошлого, столь широкую власть, что Ягода получил даже право вмешиваться в дела наркоматов, подчиненных им, старым революционерам. Ворошилов отважился на затяжную борьбу со спецотделами НКВД, созданными Ягодой во всех воинских частях и занимавшимися неустанной слежкой в

армии. Каганович, нарком путей сообщения, был раздражен вмешательством Транспортного управления НКВД в его работу. Члены Политбюро, руководившие промышленностью и торговлей, были уязвлены тем, что Экономическое управление НКВД регулярно вскрывало скандальные случаи коррупции, растрат и хищений на их предприятиях.

В подчиненных им ведомствах Ягода держал тысячи тайных информаторов, с помощью которых он в любой момент мог наскрести множество неприятных фактов, дискредитирующих их работу. Всеобщая неприязнь к Ягоде объяснялась еще и тем, что все эти крупные шишки из сталинской свиты чувствовали себя постоянно как под стеклянным колпаком, и не могли сделать шагу без «личной охраны», приставленной к ним все тем же Ягодой.

Все это как раз очень устраивало Сталина: он знал, что Ягода никогда не вступит ни в какой сговор с членами политбюро, а если среди членов ЦК и возникнет нелегальная группировка, для Ягоды и мощного аппарата НКВД не составит труда справиться с ней. Диктатору, вечно опасавшемуся потерять власть, было крайне важно иметь такого начальника службы безопасности и личной охраны, на которого можно положиться.

В общем, Сталин и Ягода нуждались друг в друге. Это был союз, в котором не находилось места третьему партнеру. Их связывали жуткие тайны, преступления и ненависть, испытываемая народом к тому и другому. Ягода был верным сторожевым псом Сталина: охраняя его власть, он защищал и собственное благополучие.

В 1930 году один из заместителей Ягоды – Трилиссер, старый член партии, отбывший десять лет на царской каторге, по собственной инициативе предпринял исследование биографии своего начальника. Автобиография Ягоды, написанная по требованию Оргбюро ЦК, оказалась лживой. Ягода писал, что он вступил в партию большевиков в 1907 году, в 1911 году был отправлен царским правительством в ссылку и в дальнейшем принимал активное участие в Октябрьской революции. Почти все это было неправдой. На самом деле Ягода примкнул к партии только летом 1917 года, а до того не имел с большевиками ничего общего. Трилиссер отправился к Сталину и продемонстрировал ему плоды своего труда. Однако это расследование имело неприятные последствия не для Ягоды, а для самого Трилиссера. Сталин его прогнал, а Ягода вскоре получил повышение в должности. Впрочем, было бы наивным думать, что Трилиссер действительно навлек на себя сталинский гнев. Напротив, Сталин был рад получить информацию,

компрометирующую Ягоду, притом такую, какую сам Ягода никогда не решился бы внести в свое досье. Сталин всегда предпочитал окружать себя не безупречно честными и независимыми революционерами, а людьми с тайными грехами, чтобы при случае можно было использовать их как инструмент шантажа.

Члены Политбюро еще помнили то время, когда они решались открыто выступить против Ягоды. Они пытались тогда уговорить Сталина убрать Ягоду, а на столь важный пост назначить кого-либо из них. Мне, например, известно, что в 1932 году занять этот пост жаждал Каганович. Однако Сталин отказался уступить членам Политбюро такой мощный рычаг своей единоличной диктатуры. Он хотел пользоваться им в одиночку. НКВД должен был оставаться в его руках слепым орудием, которое в критическую минуту можно было бы обратить против любой части ЦК и Политбюро.

Настраивая Сталина против Ягоды, Каганович и некоторые другие члены Политбюро пытались внушить ему, что Ягода – это Фуше российской революции. Имелся в виду Жозеф Фуше, знаменитый министр полиции в эпоху Французской революции, который последовательно служил Революции, Директории, Наполеону, Людовику Восемнадцатому, не будучи лояльным ни к одному из этих режимов. Эта историческая параллель, по мнению Кагановича, должна была возбудить в Сталине нехорошие предчувствия и побудить его убрать Ягоду. Кстати, именно Каганович коварно присвоил Ягоде кличку «Фуше». В Москве как раз был опубликован перевод талантливой книги Стефана Цвейга, посвященной французскому министру полиции; книга была замечена в Кремле и произвела впечатление на Сталина. Ягода знал, что Каганович прозвал его «Фуше», и был этим изрядно раздосадован. Он предпринимал немало попыток задобрить Кагановича и установить с ним дружеские отношения, но не преуспел в этом.

Припоминаю, каким забавным тщеславием дышала физиономия Ягоды всего за три-четыре месяца до его неожиданного смещения с поста наркома внутренних дел (он был назначен наркомом связи, а вскоре после этого арестован). Ягода не только не предвидел, что произойдет с ним в ближайшее время, напротив, он никогда не чувствовал себя так уверенно, как тогда, летом 1936 года. Ведь только что он оказал Сталину самую большую из всех услуг: подготовил суд над Зиновьевым и Каменевым и «подверстал» к ним других близких ленинских соратников.

В 1936 году карьера Ягоды достигла зенита. Весной он получил приравненное к маршальскому звание генерального комиссара государственной безопасности и новый военный мундир, придуманный специально для него. Сталин оказал Ягоде и вовсе небывалую честь: он пригласил его занять квартиру в Кремле. Это свидетельствует о том, что он ввел Ягоду в тесный круг своих приближенных, к которому принадлежали только члены Политбюро.

На территории Кремля расположено несколько дворцов, соборов и административных зданий, однако квартир в современном понимании этого слова там почти нет. Сталин и другие члены Политбюро занимали там очень скромные по размерам квартиры, в которых до революции жила прислуга. На ночь все разъезжались по загородным резиденциям. Однако иметь квартиру в Кремле, пусть самую крохотную, сталинские сановники считали несравненно более престижным, чем жить в великолепном особняке за пределами кремлевских стен.

Словно бы опасаясь, что Сталин возьмет свое приглашение назад, Ягода на завтра же перебрался в Кремль, впрочем, оставив за собой роскошный особняк, построенный специально для него в Милютинском переулке. Несмотря на то что стояли жаркие дни, Ягода приезжал отсюда в свою загородную резиденцию Озерки только раз в неделю. Очевидно, московская пыль и духота были ему больше по нраву, чем прохлада парка в Озерках. То, что Ягода стал обитателем Кремля, обсуждалось в высших сферах как большое политическое событие. Ни у кого не оставалось сомнений, что над Кремлем взойшла новая звезда.

В кругу сотрудников НКВД рассказывали такую историю. Сталин был будто бы так доволен капитуляцией Зиновьева с Каменевым, что сказал Ягоде: «Сегодня вы заслужили место в Политбюро». Это означало, что на ближайшем съезде Ягода станет кандидатом в члены Политбюро.

Не знаю, как себя чувствовали в подобных ситуациях старые лисы Фуше или Макиавелли. Предвидели ли они грозу, которая сгустилась над их головами, чтобы смести их через немногие месяцы? Зато мне хорошо известно, что Ягода, встречавшийся со Сталиным каждый день, не мог прочесть в его глазах ничего такого, что давало бы основания для тревоги. Напротив, Ягоде казалось, что он как никогда близок к давней своей цели. Пока члены Политбюро смотрели на него сверху вниз и держались с ним отчужденно — теперь им придется потесниться и дать ему место рядом с собой как равному.

Ягода был так воодушевлен, что начал работать с энергией, необычной даже для него, стремясь еще больше усовершенствовать аппарат НКВД и придать ему еще больший внешний блеск. Он распорядился ускорить работы по сооружению канала Москва – Волга, надеясь, что канал, построенный силами заключенных под руководством НКВД, назовут его именем. Тут было нечто большее чем просто тщеславие: Ягода рассчитывал «сравняться» с Кагановичем, именем которого был назван московский метрополитен.

Легкомыслие, проявляемое Ягодой в эти месяцы, доходило до смешного. Он увлекся переодеванием сотрудников НКВД в новую форму с золотыми и серебряными галунами и одновременно работал над уставом, регламентирующим правила поведения и этикета энкавэдистов. Только что введя в своем ведомстве новую форму, он не успокоился на этом и решил ввести суперформу для высших чинов НКВД: белый габардиновый китель с золотым шитьем, голубые брюки и лакированные ботинки. Поскольку лакированная кожа в СССР не изготовлялась, Ягода приказал выписать ее из-за границы. Главным украшением этой суперформы должен был стать небольшой позолоченный кортик наподобие того, какой носили до революции офицеры военно-морского флота.

Ягода далее распорядился, чтобы смена энкавэдистских караулов происходила на виду у публики, с помпой, под музыку, как это было принято в царской лейб-гвардии. Он интересовался уставами царских гвардейских полков и, подражая им, издал ряд совершенно дурацких приказов, относящихся к правилам поведения сотрудников и взаимоотношениям между подчиненными и вышестоящими. Люди, еще вчера находившиеся в товарищеских отношениях, теперь должны были вытягиваться друг перед другом, как механические солдатики. Щелканье каблуками, лихое отдавание чести, лаконичные и почтительные ответы на вопросы вышестоящих – вот что отныне почиталось за обязательные признаки образцового чекиста и коммуниста.

Все это было лишь началом целого ряда новшеств, вводимых в НКВД и, кстати, в Красной Армии тоже. Цель была одна: дать понять трудящимся Советского Союза, что революция, со всеми ее соблазнительными обещаниями, завершилась и что сталинский режим придавил страну так же основательно и прочно, как династия Романовых, продержавшаяся три столетия...

Нетрудно представить себе, что почувствовал Ягода, когда рука неверной судьбы низвергла его с вершины власти и втолкнула в одну из бесчисленных тюремных камер, где годами томились тысячи ни в чем не повинных людей. Охраняя власть диктатора и скрупулезно следуя сталинской карательной политике, Ягода подписывал приговоры этим людям, даже не считая нужным взглянуть на них. Теперь ему самому было суждено проделать путь своих бесчисленных жертв.

Ягода был так потрясен арестом, что напоминал укрощенного зверя, который никак не может привыкнуть к клетке. Он безостановочно мерил шагами пол своей камеры, потерял способность спать и не мог есть. Когда же новому наркому внутренних дел Ежову донесли, что Ягода разговаривает сам с собой, тот встревожился и послал к нему врача.

Опасаясь, что Ягода потеряет рассудок и будет непригоден для судебного спектакля, Ежов попросил Слуцкого (который тогда еще оставался начальником Иностранного управления НКВД) время от времени навещать Ягоду в его камере. Ягода обрадовался приходу Слуцкого. Тот обладал способностью имитировать любое человеческое чувство, но на этот раз он, похоже, действительно сочувствовал Ягоде и даже искренне пустил слезу, впрочем, не забывая фиксировать каждое слово арестованного, чтобы потом все передать Ежову. Ягода, конечно, понимал, что Слуцкий пришел не по собственной воле, но это, в сущности, ничего не меняло. Ягода мог быть уверен в одном: Слуцкий, сам опасавшийся за свое будущее, чувствовал бы себя гораздо счастливее, если бы начальником над ним был не Ежов, а по-прежнему он, Ягода. Лучше бы Слуцкому навещать здесь, в тюремной камере, Ежова...

Ягода не таился перед Слуцким. Он откровенно обрисовал ему свое безвыходное положение и горько пожаловался, что Ежов за несколько месяцев развалит такую чудесную машину НКВД, над созданием которой ему пришлось трудиться целых пятнадцать лет.

Во время одного из этих свиданий, как-то вечером, когда Слуцкий уже собирался уходить, Ягода сказал ему:

– Можешь написать в своем докладе Ежову, что я говорю: «Наверное, Бог все-таки существует!»

– Что такое? – удивленно переспросил Слуцкий, слегка растерявшись от бестактного упоминания о «докладе Ежову».

– Очень просто, – ответил Ягода то ли серьезно, то ли в шутку. – От Сталина я не заслужил ничего, кроме благодарности за верную службу; от Бога я должен был заслужить самое суровое наказание за то, что тысячу раз нарушал его заповеди. Теперь

погляди, где я нахожусь, и суди сам: есть Бог или нет...

© ООО «Издательство Алгоритм», 2012